Я помню её такой...

Мой Матильде

Любовные письма и дневники Николая Второго

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Матильда Кшесинская известна широкой публике как талантливая артистка и любимая балерина царского двора. Ее мастерство простиралось далеко за рамки балетного искусства: подчиняясь естественному обаянию этой маленькой полячки, окружающие вливались в ее магический танец жизни. Александр III, Николай II, великие князья Владимир Александрович, Сергей Михайлович, Андрей Владимирович — все они были очарованы красотой и легкостью, которую буквально излучала Матильда. Она умела нравиться и находить подход к человеку. Для каждого она была разной, всегда оставаясь собой. Какой она запомнилась людям, которые ее любили?

В этой книге собраны дневниковые записи монарших особ, благоволивших Кшесинской, а также их воспоминания, которые помогут разобраться в противоречивой личности великой балерины. Впервые публикуются знаменитые письма и дневниковые записи последнего русского царя Николая II, обращенные к роковой балерине.

- Борис Соколов
  - Мои встречи с Наследником
  - Ники и Маля
    - 1893 год
    - 1894 год
    - 1895 год
    - 1896 год
    - 1899 год
    - 1908 год
  - Встреча с тобой — самое светлое воспоминание…
    - 1890 год
    - 1892 год
  - О госпоже Кшесинской
  - Из дневника А. С. Суворина[4]
    - 1893 год
    - 1900 год
    - 1902 год
  - Возлюбленная балерина дома Романовых
  - Возмутительная переписка Наследника
  - Фижмы
  - Две примы-балерины…
    -

        - Глава 12
        - Глава 13
        - Глава 14
        - Глава 26
    - Записки директора Императорских театров
    - Из дневников В. А. Теляковского[9]
    - Танец с Матильдой
    - Дневники М. Петипа
        - 1903 год
        - 1904 год
        - 1905 год
    - Памяти великого мастера
    - Дочь фараона
    - Из воспоминаний Д. И. Лешкова[13]
        - Часть первая
        - Часть вторая
    - Часть третья
    - Из хроники моей семьи
    - Царица парижских кабаре
        - Глава семнадцатая
    - «Балетомания»
    - Источники
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

Борис Соколов
Моей Матильде
Любовные письма и дневники Николая Второго

Мои встречи с Наследником (Из дневника Матильды Кшесинской) [1]

Пятница, 23 марта 1890 г.

Состоялся наш школьный спектакль. У меня был голубой костюм, я надела свои цветы, ландыш, костюм вышел очень изящный.

Наконец приехали Государь и Государыня, Наследник. Все бросились к дверям, и я тоже, но осталась позади всех: мне не хотелось толкаться, я знала, что еще увижу их величеств.

После спектакля вся царская фамилия осталась с нами ужинать. Мы сговорились просить государя сесть за наш стол. Наследник, что-то сказав, сел возле меня. Мне было очень приятно, что Наследник сел возле меня.

Наследник тотчас обратился ко мне и очень меня хвалил. Он меня спросил, кончаю ли я в этом году училище, и когда я ему ответила, что кончаю, он добавил: «И с большим успехом кончаете!». Когда Наследник заговорил с Женей, я незаметно могла его разглядывать. Он очень понравился, и затем я уже разговаривала с ним кокетливее и смелее, не как ученица.

Матильда Феликсовна Кшесинская (1872–1971) — российская артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Его Величества Императорских театров.

«К сожалению, теперь артистки стали забывать в угоду бешеной технике, что техника без души и сердца — мертвое искусство, смотришь и удивляешься, до чего можно дойти, но душе и сердцу это ничего не говорит».

(Матильда Кшесинская)

Среда, 4 июля

Первая поездка моя в Красное Село была удачна. Наследник приехал на тройке с казаком. Я была в восторге, что он приехал.

[В балетном отделении концерта] я танцевала польку из «Талисмана». Костюм у меня был цвета сомо и мне к лицу. Скажу откровенно, что перед началом я ужасно боялась, ведь это был мой первый дебют в Красном Селе, но как только я вышла на сцену, страх мой исчез, и танцевала с увлечением. При каждом удобном случае я взглядывала на Наследника.

Наследник и В.А. (великий князь Владимир Александрович — Б.С.) смотрели на меня в бинокль. Итак, первый спектакль был для меня удачен: я имела успех и видела Наследника. Но это только для первого раза достаточно, затем, я знаю хорошо, мне этого будет мало, я захочу более, такой у меня характер. Я боюсь себя.

Пятница, 6 июля

Я знала, что сегодня была очень интересная, костюм на мне красивый, танцую я изящное и кокетливое pas de deux, что все это взятое вместе может произвести приятное впечатление на всех вообще и на Наследника в частности.

Раскланиваясь, я встала в первую кулису против царской ложи. В.А. и Н. навели на меня бинокль, затем немного погодя Наслед. опять навел на меня бинокль и, наконец, в третий раз навел на меня бинокль, когда танцевали последнее pas. На этот раз он очень долго смотрел на меня, я смотрела в упор.

Едва занавесь опустилась, как мне стало ужасно грустно. Я пошла в уборную к окну, чтобы еще раз увидеть его. Я его видела, он меня — нет, оттого что я встала к тому окну, которого не видно снизу, если не оглянуться, когда отъезжаешь от царского подъезда. Мне было обидно, я готова была заплакать. Я верно сказала, что с каждым разом я буду хотеть большего.

Вторник, 10 июля

Ложа наша [в красносельском театре] была в бельэтаже на середине, так что прелестно было видно всю царскую фамилию и в особенности Наследника. В антракте перед балетным дивертисментом я пошла с Юлей (Юлией Кшесинской. — Б.С.) на сцену; у меня было предчувствие, что великие князья придут сегодня на сцену.

Я смотрела на Наследника. Он стоял один в кулисе, ему, по-видимому, было неловко, он немного отошел назад и встал с Георгием (великим князем Георгием Михайловичем. — Авт.).

Я все ближе и ближе подходила к Наследнику, мне ужасно хотелось, чтобы он со мной заговорил, мне отчего-то казалось,

что и ему хочется заговорить, но что он не решается, и вот, когда я хотела сделать решительный шаг, ко мне подошел В.А.

Так мне и не пришлось поговорить с Н.

Когда я с Юлей шла в ложу, то мы встретили на лестнице Волкова (одного из сослуживцев наследника по гусарскому полку. — Б.С.). Он мне сообщил, что я очень нравлюсь Наследнику, что он в восхищении от моего pas de deux, которое я танцевала последний раз.

Вторник, 17 июля

…Я пошла в свою уборную. Я еще издали [в окно] увидела тройку Наследника, и необъяснимое чувство охватило меня. Наследник приехал с А.М. (великим князем Александром Михайловичем. — Б.С.), подъезжая, он посмотрел наверх, увидел меня и что-то сказал А.М. Он, вышедши из тройки и поздоровавшись со всеми бывшими на подъезде, встал туда, откуда было видно мое окно, следовательно, и меня. Мне стало понятно, что он встал сюда для меня. Он почти не переставал смотреть на меня, а я на него и подавно.

Я пришла на сцену в антракте.

Наследник был близко меня, он все время на меня смотрел и улыбался. Я смотрела ему в глаза с волнением, не скрывая улыбки удовольствия и минутного блаженства. (…)

Вторник, 21 августа [1891 г.?]

Вдруг позвонили. Оказалось, что это был Волков. Пришлось снова одеваться, так как Волков приехал, собственно, ко мне.

Он сказал, что приехал ко мне с поручением, и передал мне карточку (фото Николая. — Б.С.). Затем он сказал, что я должна тотчас дать свою карточку.

Но когда я сказала, что у меня решительно нет карточки, то он сказал, что я должна буду с ним ехать в Петергоф к Наследнику, так как Н. сказал ему, чтобы он привез мою карточку, а если ее у меня нет, то меня.

О, я бы с удовольствием поехала, я так бы хотела его видеть! Несмотря на мое желание, я ответила: «Я не могу ехать», — и жалею, отчего не сказала «едемте». Тогда Волков стал просить меня, чтобы я ехала за карточкой к Позетти (фотографу. — Б.С.). Относительно карточки он еще сказал, что Н. просит меня сняться в одном из тех костюмов, в которых я танцевала в Красном Селе.

Понедельник, 16 сентября

Разговаривала на репетиции с Таней Н. Она сказала, что

Евгений (Волков. — Б.С.) ей говорил, что Н. ни с кем еще не жил и страшно рад, что я обратила на него внимание, тем более что я артистка, и притом хорошенькая. Евгений говорит, что я бы с ним (Николаем. — Авт.) могла повидаться, если бы кто-нибудь нашелся такой, который не побоялся устроить наше свидание.

Суббота, 4 января 1892 г.

Я пошла по коридору 2-го яруса театра. Увидела Наследника и забыла все, что делается вокруг меня. Но как я была безумно счастлива, когда Наследник подошел ко мне и подал мне руку! Я почувствовала его долгое крепкое пожатие руки, ответила тем же и пристально посмотрела ему в глаза, устремленные на меня. Я не в силах описать, что со мной делалось, когда я приехала домой. Я не могла ужинать и, убежав к себе в комнату, рыдала, и у меня так болело сердце. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как я думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю Цесаревича и что никогда не в силах буду его забыть.

Произошло нечто такое, чего я совсем не ожидала. Сегодня днем мне делали маленькую операцию над глазом, и затем я с повязкой поехала кататься.

К вечеру я совсем расхворалась, у меня очень болел глаз, нос и голова. Я даже стала плакать и, чтобы немного успокоиться, я легла; но почти сейчас же раздался звонок. Было 11 часов.

Горничная доложила, что меня спрашивает Евгений Николаевич (Волков, сослуживец Николая по гусарскому полку. — Б.С.), я велела принять, а пока пошла в спальню надеть на глаз повязку. Но каково же было мое удивление, когда я увидела вместо Евгения пред собой Цесаревича! Впрочем, я не особенно растерялась и, поздоровавшись, прежде всего пошла сказать, чтобы никто не приходил ко мне в комнату.

Цесаревич пил у нас чай, был у нас почти до 1 часа ночи, но эти два часа для меня прошли незаметно. Я все время сидела в углу в тени, мне было неловко: я была не совсем одета, т. е. без корсета, да и потом, с подвязанным глазом. Мы без умолку болтали, многое вспоминали, но я от счастья почти все перезабыла.

Цесаревич сказал, чтобы я ему писала письма, он будет писать тоже, и обещал написать первый. Я, признаюсь, не знала, что это можно, и была чрезвычайно обрадована.

Он выбрал несколько моих карточек и просил их ему прислать. Я очень была довольна, когда Цесаревич сказал, что будет нас [с сестрой] называть Юля и Маля, так гораздо проще. Он непременно хотел пройти в спальню, но я его не пустила.

Опять приехать к нам он обещал на Пасху, а если удастся, то и раньше.

Перед уходом он вымазал себе руки сажей, и мы дали ему обмыть руки духами. Воображаю, что подумает его Mama, когда он явится к ней надушенный…

Когда Цесаревич уехал, я была как в чаду, я все еще с трудом верила в то, что произошло. Я уже теряла всякую надежду, кажется, приходит конец моему терпению и вдруг… Ах! Как я счастлива! Сегодня ведь первый раз, что я с ним так много говорила, до этого я почти не разговаривала с ним, да и что за разговоры, когда кругом все стоят. И сегодня, когда я его узнала ближе, я очаровалась им еще больше!

Воображаю, как будет поражен мой друг Зедделер (барон Александр Зедделер, будущий муж Юлии Кшесинской. — Б.С.), Танюша и Евгений. С ними я смело могу поделиться своею радостью, они сумеют сохранить все в тайне. Счастливый день, тебя благословляю!

Николай II Александрович (1868–1918) — Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский.

«Для меня было ясно, что у Наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был почти что всегда правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал».

(Матильда Кшесинская)

На полях дневника:

Меня очень интересовало, как [Цесаревич] к нам приехал. Он только сказал, что у Mamá гости, и он сказал, что поедет к Сергею М. (великому князю Сергею Михайловичу. — Б.С.) Один городовой его даже узнал, но он дал ему на чай и велел молчать.

Четверг, 12 марта

Днем я получила письмо от Цесаревича. Я никак не ожидала получить так скоро. Правда, письмо в несколько строк, но такие милые! Но что меня удивило, это подпись: «Вам преданный Николай».

Суббота, 14 марта

Утром я получила от Наследника письмо, большое! Я перечитывала его в продолжение дня несколько раз, и каждый раз — с истинным наслаждением. В этом письме Цесаревич предложил мне [перейти] на ты. Боже, как все скоро случилось, точно сон!

Вторник, 17 марта

Кони мне привез письмо от Наследника. Он говорил, говорил, но из всего я только поняла, что уже кто-то распустил сплетню.

Понедельник, 23 марта

С утра у меня было предчувствие, что вечером ко мне приедет Цесаревич, и потому весь день я ожидала с нетерпением письма. Наконец в 8-м часу вечера я получила письмо, в котором Цесаревич действительно сообщил, что приедет ко мне в 11 часов. Я так обрадовалась, получив такое известие! Но только приходилось еще ждать почти три часа!! Подумаешь, сколько времени ждала, 2 года, а теперь только три часа, и уже кажется много.

Цесаревич приехал в 12-м часу, не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и… первый раз поцеловались. Цесаревич мне привез свои карточки, из которых одна мне очень понравилась. Он снимался в Японии, в штатском. Я получила от Цесаревича подарок, чудный браслет.

Сегодня 23-е число, ровно два года, как был школьный спектакль, на котором я узнала Цесаревича и так сильно им увлеклась. Первый раз в жизни я провела такой чудный вечер! Вернее, ночь: Цесаревич был с $11^1/_2$ до $4^1/_2$ утра, и так быстро пролетели для меня эти часы.

Мы много говорили. Я и сегодня не пустила Цесаревича в спальню, и он меня ужасно насмешил, когда сказал, что если я боюсь с ним идти туда, то он пойдет один!

Сначала, как он пришел, мне было очень неловко говорить с ним на «ты». Я все путалась: «ты», «вы», «вы», «ты» — и так все время! У него такие чудные глаза, что я просто с ума схожу! Цесаревич уехал, когда уже стало рассветать. На прощание мы несколько раз поцеловались. Когда он уехал, у меня больно сжалось сердце! Ах, мое счастье так шатко! Я всегда должна думать, что, может, вижу его в последний раз!

Среда, 25 марта

Цесаревич днем мне прислал письмо. Он написал, что будет у меня в 9 часов. Я совсем не ожидала, что он приедет опять ко мне так скоро, и потому была еще более обрадована. Сегодня он был недолго, только до 11 часов, затем он поехал на Конногвардейский ужин.

Мы оставались одни. Цесаревич привез мне еще свои карточки в костюме Евгения Онегина, прелестные! Он сказал, что со мной хочет познакомиться С. М. (великий князь Сергей Михайлович. — Б.С.), и что он ко мне приедет. Это мне очень приятно! Цесаревич так возился, что даже оборвал у венгерки (короткой гусарской куртки, отделанной шнурами на груди. — Б.С.) костылёк (застежку. — Б.С.). Он принужден был ее снять, чтобы я отдала пришить. Ему было очень стыдно без венгерки, ну это только сначала, потом он не станет стесняться.

Я буду теперь звать Цесаревича «Ники», его так зовут дома. Завтра я опять его увижу в Михайловском манеже. Он обещал во время антракта остаться в ложе и после concours (конкура, конных соревнований. — Б.С.) поехать кататься. Мы сговорились, на каких улицах нам встречаться.

Четверг, 26 марта

Ники уже был в ложе, когда я приехала в манеж. Мы оба не решались посмотреть друг на друга так близко в присутствии столь многочисленной публики. Ники мне прислал с Котляревским чудный букет, одни розы! Какое внимание!

Воскресенье, 29 марта

[В манеже] Ники на кого-то очень долго смотрел в бинокль, и меня это рассердило, так что потом, когда он навел бинокль на меня, я отвернулась.

Письмо (дата не указана)

Дорогой Ники! Меня еще кое-что опечалило: на кого ты в манеже смотрел так долго направо в бинокль? Я думаю, ты заметил, что после того, когда ты на меня посмотрел, я

отвернулась? Но я не знаю, понял ли ты, отчего я это сделала? благодарю тебя за чудный букет. Твое внимание очень меня тронуло! Ты так ко мне внимателен, и твое обращение со мной так мило, что я, право, не знаю, чем я могу выразить тебе мою благодарность! Мне ужасно скучно, когда я тебя не вижу, время тянется тогда бесконечно!

С каждым днем, дорогой Ники, моя любовь к тебе становится сильнее! Как бы я хотела, чтобы ты так меня полюбил, как люблю я тебя. Прости, Ники, но я не верю, что ты меня любишь. Может быть, я ошибаюсь, но вернее, что нет. Ведь всегда так бывает: то, чего добиваешься, кажется несбыточным, и если начинает сбываться, то все кажется, что это лишь обман.

Мне ужасно нравятся твои карточки в костюме Онегина. Так и хочется тебя поцеловать. Мне очень много нужно тебя спросить и тебе рассказать. целую тебя крепко и, как ты любишь, троекратно. Как долго ждать, чтобы исполнить это на деле! Жду письма. Твоя.

Суббота, 4 апреля

Наконец я дождалась от Ники письма. Такой, право, лентяй! Мог бы на Страстной неделе писать чаще! А я ему три дня кряду письма отсылала.

Воскресенье, 5 апреля

Первый день Пасхи. Утром получила письмо от Ники, вечером в 10-м часу он приехал ко мне и был до 2-го часа. Мы были весь вечер одни.

Первый раз Ники был сегодня у меня в спальне. Ему она очень понравилась и мое платье. Мне было очень приятно, что Ники обратил на него внимание. Я провела вечер прелестно. Мы много болтали и вспоминали прошлое.

Письмо (дата не указана)

Дорогой Ники! Я очень была счастлива видеть тебя у меня в воскресенье, тем более, что я совсем на это не надеялась. Знаешь, Ники, каждый раз, когда ты уходишь от меня, у меня больно сжимается сердце. Так грустно с тобой расставаться.

Завтра, в среду, я танцевать в «Фаусте» не буду. В пятницу опять идет «Фауст», и я думаю в пятницу тоже не танцевать: мне не хочется раньше воскресенья. Впрочем, если ты поедешь в театр, то я буду танцевать. Напиши мне тотчас же ответ: будешь или нет [в театре]? Все же лучше бы, если бы ты приехал в пятницу ко мне. Ты мне говорил, что уезжаешь в Данию 9 мая, но на сколько времени, я тебя не спросила, а мне это очень

интересно знать. Я все забываю тебе написать: у меня новый поклонник — Пика Г. (Голицын. — Б.С.). Он мне нравится, он хорошенький мальчик.

Суббота, 11 апреля

Вечером он (наследник. — Авт.) приехал ко мне после цирка. Сегодня ровно месяц, как Ники был у меня первый раз. Ники обещал завтра приехать непременно в балет и прийти на сцену. Я его очень просила не подавать руки Марии Петипа. Я ее ненавижу, противную сплетницу!

Ники был у меня довольно долго, он хотел еще остаться, но боялся, так как он теперь живет с Papá (императором Александром III. — Б.С.) в Зимнем дворце, куда возвращаться очень поздно опасно, там все шпионы.

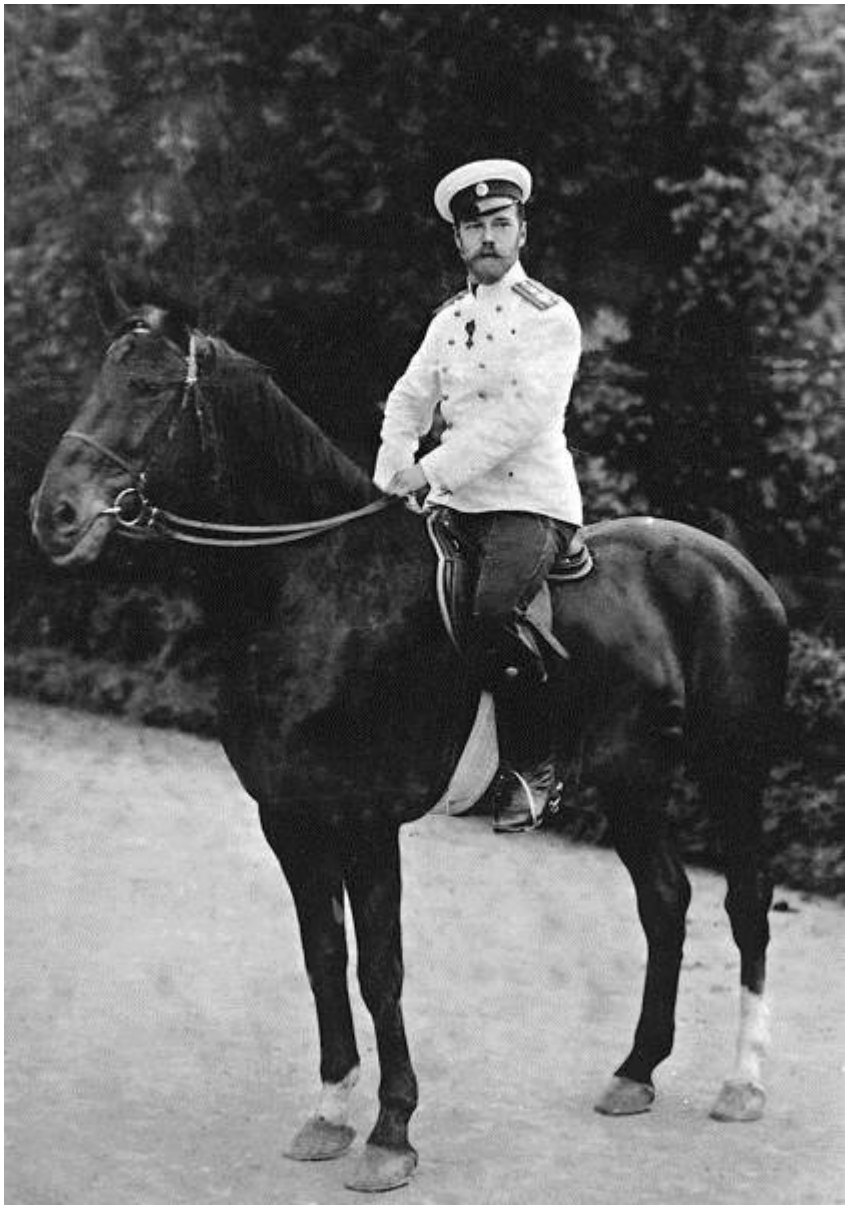
Вторник, 14 апреля

Вечер я провела с Ники вдвоем. Ники опять понравилось мое платье! Мне ужасно нравится, что он обращает внимание на туалет, это так хорошо, когда мужчины понимают в этом толк. Ники был у меня до 5-го часа.

На полях дневника:

«Хотела бы ты выйти за меня замуж?» И когда ответила, что невозможно, и я никогда не хочу, Ники спросил: «Так лучше?».

На некоторые фразы он делал ударения. Так, например: «Только то и дорого, и хорошо, что почти невозможно». Умная женщина, когда за что возьмется, то всегда счастливо доведет до конца и… Только поцелуй беззвучно жил и длился.



«Не зло победит зло, а только любовь».
(Николай II)

Четверг, 16 апреля

Вечером я танцевала в опере «Пиковая дама». После оперы Ники приехал ко мне. Он сказал остальным, что заказал поезд к $11^1/_2$, а между тем приехал ко мне. Я ему сегодня очень понравилась в белом парике. Ники был у меня почти до 1 часа, несмотря на то, что он заказал поезд.

Понедельник, 20 апреля

Ники приехал ко мне в $12^1/_2$ часов ночи, после какого-то спектакля. З. (барон Александр Зедделер. — Б.С.) был у нас, и мы дули шампузен. Когда Ники уезжал от меня, было 6 часов, и уже светило солнышко. Завтра он приедет ко мне опять. Мы, кроме того, сговорились встретиться еще на улице. Он сказал, что выйдет из дворца в 12 ч. 55 м.

Воскресенье, 26 апреля

Я с нетерпением ожидала вечера, чтобы увидеть Ники. Я приехала в театр к началу балета, хотя танцевала только в конце. В первом же антракте я посмотрела на него в дырочку занавеси. Ники мне показал руками, что пройдет на сцену в третьем антракте. В следующем антракте я опять смотрела в дырочку и потом пошла одеваться. У меня был собственный костюм, очень хорошенький, все для Ники.

В третьем антракте Ники пришел с А. М. (великим князем Александром Михайловичем. — Б.С.) на сцену. Я стояла на середине, и он подошел к Марии Петипа, которая стояла ближе, что меня ужасно обозлило! Ведь я так просила никогда с ней не разговаривать, а он, как назло, подошел к ней и говорил с ней довольно долго. Я даже собиралась уже уйти со сцены, но в это время он подошел ко мне, и какой глупый разговор мы вели! А ведь надо же все держать в тайне, ничего не поделаешь.

Вторник, 28 апреля

Ники мне привез брошку, но я не взяла. Я от него ничего не хочу, только бы он меня любил. Я хочу сохранить чистое, святое к нему чувство, не оскверняя его никакими материальными выгодами.

Ники уехал от меня не поздно, до угла дошел пешком. Ники всегда оставляет лошадь где-нибудь подальше, так безопаснее.

Среда, 29 апреля

Опять был у меня Ники, но зато последний раз. Больше приехать ему не удастся, так как завтра в 8 часов утра он выступает в лагерь, потом пробудет несколько дней в Гатчине, потом опять в Красное Село и, наконец, 9-го уедет в Данию, откуда вернется только в июне. Увидимся мы не раньше июля, когда начнутся красносельские спектакли. Я ждала Ники на балконе и увидела его еще издали. Он приехал ко мне в $11^1/_2$ часов прямо с вокзала. Проходя через улицу, он мне поклонился. Я сама ему отворила дверь.

Ники был у меня до утра, он уехал только в 7-м часу. Бедный,

ему и не выспаться, завтра в 8 часов уже надо выступать в Красное. Как грустно было прощаться на целых два месяца! Мы крепко несколько раз поцеловались, и я умоляла Ники меня не забывать.

Письмо, 2 мая

Милый, дорогой Ники! Я никак не могу примириться с мыслью, что я тебя не увижу два месяца.

Я все время вспоминаю последний вечер, проведенный с тобой, когда ты, милый Ники, лежал у меня на диване. Я тобою все время любовалась, ты так мне был в ту минуту дорог, и так страшно я тебя ревновала к той, которая скоро будет иметь право тебя осыпать своими ласками (имеется в виду Алиса Гессенская, будущая императрица Александра Федоровна. — Б.С.). Но помни, Ники, что никто тебя не полюбит так, как я.

Скажи мне, Ники, когда Ты женишься, ты совсем забудешь твою Панни? [зачеркнуто: или хотя изредка вспоминать о моем существовании? Невозможного я никогда не буду требовать!] Я хочу знать это теперь, [когда] ты не боялся сказать правду. Если да, то надо теперь же все кончить.

Я много, много передумала в эти три дня и чувствую, что могу принадлежать только тебе. Теперь прощай, мой дорогой, милый Ники. Не забывай горячо любящую тебя твою Панни. (В одной из самых первых своих записок к Матильде Николай весьма многозначительно вспоминал героев: любовь Андрия к польской панночке из гоголевского «Тараса Бульбы». Фотография, подаренная Цесаревичем Кшесинской, была подписана: «Моей дорогой пани». — Б.С.)

На полях:

У меня было такое страстное желание быть всегда, всегда с тобою. К этому желанию присоединилась и страшная ревность к той ……

Среда, 20 мая

Брат привез мне из города письмо от Ники, которое он прислал из Дании, и я была очень счастлива! Я в Данию ему писать не буду, мне кажется, что писать туда опасно.

Понедельник, 6 июля

Наконец настал день, который я ожидала с таким нетерпением. Я не верила даже утром, когда встала, что сегодня поеду в Красное и увижу моего незабвенного Ники.

Во втором антракте ко мне пришел в уборную В.А. (великий

князь Владимир Александрович. — Б.С.) вместе с Ники. В.А. спросил про мое здоровье и, что-то пробормотав, вышел из уборной, оставив Ники и меня. Я отлично знала, что В.А. пришел лишь затем, чтобы привести Ники, и мысленно его благодарила.

Едва В.А. вышел, как тотчас же замок щелкнул, и только тогда я могла поцеловать моего Ники. Разговор, конечно, не клеился, произносились какие-то бессвязные слова, да это и понятно после двухмесячной разлуки. Ники немного изменился, стал носить бороду, пока, конечно, совсем маленькую.

Письмо 7 июля

…Ники, дорогой, умоляю, приходи ко мне в четверг в уборную в первом антракте. Я нарочно немного отворю дверь уборной, чтобы тебе удобнее пройти. Вчера я от восторга почти с тобой не говорила.

Мне кто-то сказал, что ты будто бы не будешь в четверг в театре. Я не верю, быть не может, я думаю, что ты не захочешь меня так огорчить. В четверг я буду хорошо танцевать, а затем у меня будет прехорошенький кустюм (так в оригинале. — Авт.), и надеюсь, что тебе понравлюсь. Тебя крепко целует страстно и безумно любящая тебя твоя Панни.

Письмо 10 июля

Мой дорогой Ники! После вчерашнего вечера я совсем потеряла голову! В тебе есть что-то особенное, что производит на меня слишком сильное впечатление. Ужасно только грустно бывает после спектакля, когда приходится разлучаться опять на несколько дней, да и наши свидания бывают теперь так непродолжительны, и я бы хотела много сказать!

Тебе интересно узнать, от кого я получила в первый спектакль цветы. Я тебе скажу в понедельник. Вчера же корзина была от Р. Он сильно за мной ухаживает и уверяет, что не на шутку в меня влюблен. Но, пожалуйста, не бойся, тут ничего нет опасного. Я надеюсь, что ты уже меня довольно хорошо узнал?

Мне ничего ни от кого не нужно, только бы меня Ники любил и так же сильно, как я его! Теперь будь смелый и приходи ко мне в каждом антракте, а то мало приходится говорить. Приведи с собою хоть раз Сергея (великого князя Сергея Михайловича. — Б.С.), он, право, такой хороший, бедовый, я страшно таких люблю!

Письмо 16 июля

Дорогой, милый Ники! Как тяжело, как ужасно так жить. Мне этого не перенести, это невозможно, это сверх моих сил.

Два месяца разлуки с тобой, которые мне предстоят, меня

пугают и в то же время радуют: будет хоть конец плохой, но все же какой-нибудь. Тогда прощай, Ники, лучше умереть. Прости, Ники, но мне не верится, что твое чувство ко мне столь же серьезно, как и мое к тебе. Я все принимаю твою страсть за простое увлечение, и это так больно.

Матильда Кшесинская с братом Иосифом и сестрой Юлией. 1890-е гг.

Я радуюсь, что ты начинаешь испытывать ревность. Мне это только приятно. Но ты только пишешь об этом, на самом деле я

этого не замечаю. Сегодня даже ты меня страшно обидел, когда посоветовал ехать с Р. за границу. Я чуть-чуть не заплакала, но удержалась и даже вовсе от тебя скрыла.

Да, Ники, какая уж здесь после того ревность? Это очень, очень больно! А я тебе не раз говорила, что для тебя пожертвовала бы всем, и теперь скорее, чем когда-либо, я бросила бы для тебя все самое для меня дорогое.

Понедельник, 23 марта 1892 г.

Я сегодня его ужасно изводила всеми теми, которые, по слухам, ему нравились. И конечно, большею частью эти слухи оказались неверными, впрочем, может быть, он не хотел мне сознаться. Но только какая цель ему скрывать от меня?

Вторник, 21 апреля

Кроме Ники и З. (барона Александра Зедделера. — Б.С.), он смотрел портрет Ники, который я рисовала, и не хотел верить, что это моя работа.

Ники оставался еще долго после его ухода. Я читала его дневник, [который] он привез с собой. В дневнике меня очень заинтересовал один день, это 1 апреля, где он пишет про Алису Г. (Алису Гессенскую. — Б.С.) и про меня. Алиса ему очень нравится, он говорил мне уже об этом раньше, и я серьезно начинаю его к ней ревновать.

Письмо 28 июля

Дорогой, милый Ники! В понедельник, 3-го [будет] французский спектакль, и я радуюсь, что ты не можешь быть в театре: я тебя ужасно ко всем ревную!

Письмо 3 августа

Твое последнее письмо произвело на меня сильное впечатление. Я теперь начинаю верить, Ники, что ты меня любишь. Но я все думаю о твоей свадьбе. Ты сам сказал, что до свадьбы ты мой, а потом…… Ники, ты думаешь мне легко это было услышать? Если бы ты знал, ники, как я тебя ревную к А. (Алисе Гессенской — Б.С.), ведь ты ее любишь? Но она тебя, Ники, никогда не будет любить, как любит тебя твоя маленькая Панни! Целую тебя горячо и страстно. Вся твоя.

Письмо 6 августа

Дорогой, милый Ники! Вчера, когда я с тобой прощалась, я готова была разрыдаться. Ах! Ники, как я тебя сильно люблю. Дорогой мой, люби меня, я так страшно боюсь, что в эти месяцы

разлуки твоя страсть охладеет. Ах, в каком я ужасном отчаянии, что со мной будет? Только бы хватило сил перенести разлуку! Поблагодари С.М. (великого князя Сергея Михайловича. — Б.С.) еще раз, что передал тебе письмо. Я думала, что он мне [в этом] откажет. Не сердись, что я пишу опять о нем, я тебя уверяю, что ничего опасного нет. Прощай, мой дорогой, мой прелестный Ники, до ноября. Навсегда твоя.

Письмо 10 августа

Дорогой мой Ники! Теперь я немного успокоилась, перестала плакать, но мной овладела тихая грусть. Я хочу скорей уехать за границу, там для меня все ново, и я немного развлекусь. Ники, подумай, как было бы хорошо, если бы исполнился твой сон, который ты мне рассказывал. Как дивно было бы нам встретиться в Париже! Мой милый, я тебя нисколько не обвиняю, что ты меня отпустил в последний раз в Красном после прогулки одну. Как мог ты иначе поступить?

Ники, зачем ты говоришь, что будешь с отчаяния пить? В этом плохое утешение, после всегда бывает тяжелее. Не делай, Ники, этого, я прошу. О, Ники, дорогой, как я желаю скорее быть Твоею, только тогда я буду совершенно спокойна. Я страшно томлюсь, мой дорогой. И тебе, и мне давно пора… Я Тебя не понимаю, ты… с… мною одною (в дневнике именно многоточия. — Авт.), а когда женишься, может быть, не скоро, но все же тогда будет другая, или ты это не считаешь?

Только бы ты женился не на А. Ей я ни за что тебя не отдам, а то или она, или я. Ты, верно, изводишься, что я постоянно пишу и говорю о твоем браке, но представь себя на моем месте, и ты поймешь, как он должен меня тревожить.

Письмо 16 августа

Меня, Ники, ужасно беспокоит, что по городу, действительно, стали ходить слухи, что я тебе нравлюсь! Ничего, право, нельзя скрыть, и кому какое до этого дело? Эти слухи меня ужасно раздражают и пугают. Я ужасно, Ники, боюсь, что тебе будут из-за меня неприятности, да и себя мне жаль, ведь я так еще молода, у меня все впереди и вдруг…

Ники, дорогой, тогда мы никогда больше не увидимся! Ах, Ники, Ники, как я боюсь! Надо кончать письмо, так как его берет с собой сестра Юля. Я все посылаю тебе письма из города, отсюда опасно.

Суббота, 14 ноября

Какой страшный удар! Ники теперь на Кавказе.

Ходят слухи, что он поехал туда спасти брата (великого князя Георгия Александровича, больного туберкулезом. — Б.С.), который там сильно увлекся какой-то грузинкой, и будто Ники, увидев ее, тоже в нее влюбился. Я сначала не хотела верить. Нет, этого быть не может, это был бы жестокий удар, Ники не такой, нет, нет!

Письмо 14 ноября

Дорогой, незабвенный Ники! До меня дошли ужасные слухи, я в полном отчаянии и не хочу верить тому, что мне сказали. Не хочу, и в то же время предчувствие мне говорит, что ты, Ники, изменил твоей Панни. Конечно, Ники, ты понимаешь, что я говорю про твое сильное увлечение какой-то грузинкой.

И могла ли ожидать, что меня ожидает такой сильный удар и в то время, когда я больше всего надеялась, что скоро исполнится моя заветная мечта? Вспомни, что ты сам в одном из последних писем сказал мне, что я тебя оскорбляю тем, что не верю [тебе].

Если, Ники, я узнаю, что эти слухи верны, даю тебе слово: я не задумаюсь, чтобы с собой покончить. Быть может, Ники, когда ты вернешься сюда, меня уже не будет. Пожалеешь, Ники, не раз, вспомнишь тогда о твоей Панни, поймешь, что Панни умела любить, но будет поздно. Прощай…

Воскресенье, 15 ноября

Я пошла в церковь, горячо молилась, и как будто мне стало легче, но по возвращении домой все, каждая вещь мне напоминала моего дорогого Ники, и я опять заплакала. Итак, я страшно страдала, но какова была моя радость, когда я, сообщив Але (Александру Зедделеру. — Б.С.) о посылке письма (наследнику. — Б.С.), заметила его удивление и затем услышала его признание, что все, что он мне сказал про Ники, одна выдумка, что он просто хотел меня испытать и теперь видит, что я действительно люблю Ники.

Воскресенье, 22 ноября

Я догадалась, что С. (великий князь Сергей Михайлович. — Б.С.) не прочь был бы за мной поухаживать, если бы не Ники.

Сергей своими взглядами извел меня вконец, и скажу откровенно, что после сегодняшнего раза он мне еще более понравился, ужасно люблю таких бедовых, это моя слабость.

Среда, 16 декабря

Я с Сергеем кокетничала. Сергей начинает заметно поддаваться, еще немного, и будет то, что я добиваюсь. Я пила

много, в особенности коньяка, но, как и всегда, я оставалась совершенно нормальной.

Пятница, 18 декабря

Много мне сегодня пришлось болтать с Сергеем и еще раз удостовериться, что дело идет на лад. Право, не знаю, не понимаю себя. Сергей даже не красив, а между тем мне очень нравится.

Великий князь Сергей Михайлович (1869–1918) — пятый из

шести сыновей великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, внук Николая I; генерал-адъютант (1908), генерал от артиллерии (1914), полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном Главнокомандующем (1916–1917), член Совета государственной обороны (1905–1908)

Понедельник, 4 января [1893 г.]

По обыкновению я ждала вечером Ники, но, прождав до 12 часов, решила, что он уже не приедет, и хотела идти спать. Вдруг в $12^1/_4$ часов раздался звонок.

Я открыла дверь и увидела Ники и Сандро (великого князя Александра Михайловича. — Б.С.).

Я не верила своим глазам, я так была счастлива в ту минуту, хотела броситься на шею, но удержала себя, неловко было при Сандро, и далее даже сухо поздоровалась с Ники после столь долгой разлуки.

Меня немного злило, что Ники первый раз приехал не один, да и сначала я немного дулась на Ники все за то письмо и еще кое за что. Сандро даже удивлялся, что я так мало радуюсь, и говорил, что Ники был так счастлив, когда ехал ко мне.

Когда Ники смотрел мои карточки, я стояла совсем близко, и он так на меня посмотрел, что я невольно смутилась, увидев столь пристальный взгляд этих очаровательных глаз. Сандро уехал раньше Ники, и не скрою, что я была рада остаться с Ники наедине.

Бывшее между мной и Ники недоразумение разъяснилось. Он признал себя виноватым, как оно и следовало, и в конце концов я перестала дуться, но вообще была сегодня сдержанна. Я Ники нарочно сказала сегодня, что в посту еду танцевать в Милан на три месяца. Ники не поверил сначала, а потом сказал, что меня не пустит.

А когда я попросила его отпустить меня на 1-ю и 2-ю неделю поста в Париж, ссылаясь на то, что он на 1-й неделе будет говеть, Ники сказал, что на 1-й неделе он действительно будет отмаливаться, но на 2-й неделе надо будет уже прималиваться.

Это очень остроумно сказано. Ники жалел, что я не догадалась приехать в Абас-Туман (местожительство великого князя Георгия Александровича. — Б.С.), где мы могли бы видеться каждый день без всякой опасности.

Говорили много, но о главном ни слова, и меня мучило, что Ники не начал об этом разговора. Может быть, сразу не хотел?

Среда, 6 января

Вечером приехал Ники с Сергеем (великим князем Сергеем

Михайловичем. — Б.С.), и затем Г.М. (великий князь Георгий Михайлович. — Б.С.). Я все время кокетничала с Сергеем, во-первых, оттого, чтобы хорошенько извести Ники, на которого положительно ничего не действует, а во-вторых, я стесняюсь вести себя с Ники в присутствии Сергея как всегда. Ники тоже меня извел, но, к сожалению, неумышленно, и именно тем, что слишком много говорил с Юлей. Мне удалось его уговорить приехать ко мне в пятницу, и надеюсь, что на этот раз он приедет один.

Пятница, 8 января

Сегодня у меня была в театре репетиция, где я видела Фигнера (известного оперного певца. — Б.С.) и узнала от него, что вовсе не подозревала. Разговор касался Царя, и между прочим он сказал про М. (Михайловичей, великих князей, сыновей великого князя Михаила Николаевича. — Б.С.), что ему передавали, будто они за Ники следят. Мне показалось это невероятным, однако же я решила этого не оставлять без внимания и сегодня же как-нибудь выпытать от Ники.

Ники приехал ко мне в 1-м часу ночи из Преображенского полка, где он обедал. Аля З. (Александр Зедделер. — Б.С.) приехал к нам оттуда же, но немного раньше Ники. Я немного рассердилась на Ники, что он так долго сидел в полку, и вообще не совсем была в дух.

Мы вчетвером — четвертая Юля — дули шампузен, который привез с собой Аля, и Ники сильно опьянел, Аля тоже. Я же, хотя и выпила довольно, была совершенно трезвая и твердо решила сегодня же поговорить с Ники о будущем.

Первый раз, когда мы остались вдвоем в комнате, Ники я не узнала — так он был ласков. Но когда нам пришлось остаться наедине вторично, между нами произошел крайне тяжелый разговор.

Этот разговор продолжался более часа. Я готова была разрыдаться, Ники меня поразил. Передо мною сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви.

Летом он сам неоднократно в письмах и в разговоре напоминал насчет более близкого знакомства, а теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь, что если бы я уже была не невинна, тогда бы он, не задумываясь, со мной сошелся, и много другого говорил он в этот раз.

Но каково мне было это слушать, тем более, что я не дура и понимала, что Ники говорил не совсем чистосердечно. Он не

может быть первым! Смешно! Разве человек, который действительно любит страстно, станет так говорить? Конечно, нет.

Он боится просто быть тогда связанным со мной на всю жизнь, раз он первый будет у меня. И как же я удивилась, когда узнала от Ники, что все это вдалбливает ему в голову Сандро. Тогда невольно мне вспомнилось, что сказал Фигнер, и со слов Ники я поняла, что Фигнер не врет.

Однако, хотя я и была в отчаянии, я не теряла надежды и Ники убеждала, чтобы он не слушал М., а следовал советам В.А. (великого князя Владимира Александровича. — Б.С.) и Н.Н. (великого князя Николая Николаевича младшего. — Авт.), из которых первый, как сказал сам Ники, думал, напротив, что несогласие последует с моей стороны.

В конце концов мне удалось почти убедить Ники, он ответил «пора», — слово, которое производит необъяснимое действие на меня, когда оно им произносится. Он обещал, что это совершится через неделю, как только он вернется из Берлина. Однако я не успокоилась, я знала, что Ники мог это сказать, чтобы только отвязаться, и когда он уехал (было 4 часа), я была в страшном горе, я была близка к умопомешательству и даже хотела… Нет, нет, не надо здесь этого писать, пусть это будет тайна. Все же я поставлю на своем, сколько бы мне то трудов ни стоило!

Вторник, 12 января

Я репетировала в училище балет «Спящая красавица». После репетиции я пошла к И. И. Рюмину (директору Петербургского театрального училища. — Б.С.), который просил меня зайти к нему. И.И. предупредил меня, чтобы я была осторожнее, так как многие знают про мое знакомство с Ники.

Среда, 13 января

Всю эту неделю я решила ложиться рано спать, чтобы приберечь силы к воскресенью.

Пятница, 15 января

Сандро остался у меня почти до $2^1/_2$ часов, и мы вели очень серьезный разговор относительно Ники.

Если Ники будет медлить, а подобные разговоры наедине, как сегодня, будут часто происходить между Сандро и мной, то ничего нет удивительного, если наши отношения примут иной характер. Сандро замечательно красив, да и это бы еще ничего, но он слегка проговорился и дал понять, что я ему нравлюсь. Достаточно для женщины это услышать от мужчины, и даже от

такого, к которому совершенно она равнодушна, чтобы она сей час стала с ним кокетничать. Следовательно, понятно, каким образом подействовали на меня слова Сандро, и как я к нему теперь буду относиться.

Теперь, когда я была с Сандро вдвоем, я сказала, что отлично знаю, что они все трое следят за Ники, и какие он дает Ники советы.

Сандро стал доказывать, что связь между Ники и мной невозможна, что Ники не должен быть связан на всю жизнь ни с кем. Он приводил всевозможные доводы по этому вопросу, но меня не убедил.

Я тоже, в свою очередь, говорила многое, чтобы его убедить, как он ошибается. Но Сандро тоже не соглашался, и только на все мои доводы ответил, что это несчастье, что Ники попал на такую умную как я. Будь дура, все можно было бы сделать.

Сандро сказал, что так как он друг Ники, то он считает долгом давать Ники советы, которые, по его мнению, могут принести Ники только пользу. Сандро будет все делать, чтобы не допустить Ники до связи со мной.

И когда я стала умолять не делать этого, он сказал, что не может иначе поступить, тогда его будет мучить совесть впоследствии, а тем более, что он уверен, что все же победу одержу я. И этого было вполне достаточно, чтобы я заметила, что Сандро на самом деле убежден моими доводами, но только не хочет в этом сознаться.

Правда, Сандро сказал, что у него есть средство прекратить окончательно все между мной и Ники, то есть все рассказать его родителям. Но этого, Сандро сказал, ни он, ни его братья никогда не сделают.

По словам Сандро, если бы родители Ники узнали от кого-нибудь обо всем, то больше всего бы пострадали от того, во-первых, Ники, а затем они трое.

Но и после того, как бы им страшно ни попало, Сандро сказал, они бы не перестали ко мне ездить. Притом Сандро, хотя и будет теперь со мной воевать, сказал, что если бы мне все же удалось поставить на своем, он был бы и тогда моим другом.

И так наш разговор тянулся долго, и были затронуты такие вопросы, что если был бы тут третий, то, верно, был бы сконфужен. Сандро уговаривал еще меня поехать в Чикаго, он тоже туда поедет в марте. Сандро будет у меня в воскресенье, мы решили оба подумать и в воскресенье поговорить опять.

Великий князь Александр Михайлович (Сандро; 1866–1933) — российский государственный и военный деятель, четвертый сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, внук Николая I

Воскресенье, 17 января

Состоялся мой дебют в «Спящей красавице» в роли Авроры. Я так надеялась, что Ники вернется к этому дню из Берлина и будет в театре, но, увы, он не поспел.

Сандро хотел со мной поговорить. Мы ушли в спальню, где продолжали наш разговор. Конечно, и он, и я остались при своих убеждениях, и ни он, ни я не хотели делать никакой уступки. Сандро еще настоятельнее уговаривал меня сегодня поехать в

Чикаго на три месяца, и это мне ясно показывает, чего он от меня хочет.

Одну я, впрочем, обещала сделать уступку по просьбе Сандро: что, если Ники приедет ко мне в среду, я не начну первая того разговора, что был между Ники и мной в прошлую пятницу. Я Сандро упросила тоже не давать Ники до его приезда ко мне никаких советов.

Но если Ники не начнет того разговора, то я все же заставлю заговорить Ники, не начиная о том говорить первая.

Юля потом мне сказала, что когда она сидела с С. (великим князем Сергеем Михайловичем. — Б.С.), то он сказал, что Сандро будет уговаривать, уговаривать меня, и кончится тем, [что] сам влюбится в меня.

Среда, 20 января

Днем был у нас Аля З., которого я просила передать Ники (он обедал в Преображенском полку), что я прошу его приехать ко мне после обеда. З. приехал затем в $11^1/_2$ часов и сказал, что Ники обещал приехать, но я напрасно прождала его до 1 часа. Меня ужасно огорчило, что Ники не приехал, он так поступает, как будто вовсе меня не любит. Но еще больнее мне было, когда Юля сказала по уходе Али, что Аля думает, что Ники остался в полку играть в бильярд. Каково — ему приятнее играть в бильярд, чем повидать меня!

Суббота, 23 января

Весь день я сегодня страшно тосковала и ждала вечера, чтобы ехать во Французский театр, где надеялась увидеть Ники.

Когда начался второй акт, в верхнюю императорскую ложу вошел Ники… Я страшно обрадовалась.

Пьеса кончилась, когда я встала и вышла из ложи. В дверях я оглянулась на Ники и заметила, что он на меня смотрит. Я надеялась, что он ко мне поедет, и потому спешила домой.

В передней я увидела его пальто, вместе с Ники ожидали нас Сандро и Аля З. Я приехала веселая, так как была уже довольна тем, что Ники в театре много на меня смотрел, и успела себя немного уже успокоить относительно того, что Ники до сих пор ко мне не приезжал.

На этом заканчивается последняя, четвертая часть дневника М. Кшесинской.

Письмо Кшесинской к Николаю. Без даты.

Дорогой Ники! С.М. (великий князь Сергей Михайлович. —

Б.С.) жестоко ошибается. Ты у меня первый и последний. Я тебе говорила неоднократно, что тебя люблю, а полюбить серьезно можно только один раз в жизни, а увлекаться — сколько угодно, это зависит от характера.

Я никогда не променяю истинную любовь на глупое увлечение. Совершенно напрасно С.М. так самоуверен. А ты, верно, обрадовался, когда он тебе это сказал, — что уже теперь нашел мне утешителя? Ну, а за эти слова прибьешь меня? Не забудь привезти в понедельник дневник. Меня он очень интересует! До скорого свидания. Целую тебя крепко, мой дорогой Ники.

Ники и Маля
(Из дневника А. В. Богданович) [2]

1893 год

21 февраля

Обедал Коломнин. Он говорил, что цесаревич увлечен танцовщицей Кшесинской 2-й, которой 19 лет.

Она не красивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая, зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой «Мале» (так ее зовут), что упросил царя два года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. (…)

2 марта

(…) Про сына вел. кн. Владимира Александровича, Андрея, говорили, что он умный мальчик, состоит «сплетником» царицы, рассказывает ей городские сплетни. (…)

3 апреля

Говорил Валь про цесаревича, что за ним так следят, что он этого не замечает, но раз, выходя, он встретил полицейского, который случайно проходил по этой улице с бумагами. Цесаревич дал ему 25 руб. и сказал, чтобы он не говорил, что его видел. Тот об этом заявил в участке. Валь говорил Черевину про его похождения, тот сказал Воронцову, совещались вместе. Царю не решились все сказать, но поведали вел. кн. Алексею, который нанял возле своего дворца квартиру для двух Кшесинских (сестер), и теперь, когда цесаревич к ним ездит, для других — будто он едет к Алексею. Но царю и Алексей тоже ничего не сказал.

10 апреля

Бобриков говорил про цесаревича, что шалит, пора его женить; что написал Кшесинской, когда говел, что скоро кончит говеть, и тогда с ней «заживут генералами». Кшесинская очень заважничала с тех пор, как находится для les bonnes grbces (особых милостей — франц.). (…)

15 апреля

Говорят, что дети царя ужасно боятся отца. Когда у наследника временно взяли его кучера, он спросил Фредерикса, отдадут ли его ему. Фредерикс спросил, почему он не скажет об этом царю. Наследник отвечал, что не решается: «Спросите вы». Так же было, когда уезжали в Ливадию. Фредерикс его спросил, каких лошадей ему туда отправить. Он отвечал, что не знает, едет ли он с царем, а спросить не смеет. Царица, говорят, не хочет

женить сына, чтобы не было молодого царя. Цесаревича не выпускают из Ливадии, чтобы он не увлекался здесь балетом. (…)

31 мая

Мокринская рассказывала, что цесаревич ведет очень несерьезную жизнь, что про это говорят все в Петербурге. Говорила она также, что цесаревич не желает царствовать, не желает жениться, что любимец царя — третий сын, Михаил, что Георгия царь тоже не любит, что у царя ужасный характер, что оба старших брата дружно не живут, друг друга не любят.

14 сентября

Датская королева хотела устроить свадьбу наследника на Алисе Гессенской, но цесаревич не захотел, так как она на целую голову выше наследника. В Копенгагене говорили про союз между цесаревичем и дочерью графа Парижского, которые ожидались туда, но Парижский приехал один с сыном, дочь не привез. Дом, выстроенный царем в парке Фриденсборга, напоминает новодеревенский трактир.

22 сентября

Сегодня Валь говорил, что цесаревич тяготится жизнью в Дании, что королева датская хотела его женить на Гессенской, но он наотрез отказался, что было поводом к бурной сцене между отцом и сыном. У царя заболела голова, пошла кровь носом, и он три дня пролежал в постели. Валь слышал из верных источников, что цесаревич не хочет царствовать, отказывается, и будто царь уже наметил Михаила себе преемником, так как царица и он Георгием не довольны за его женскую связь. Цесаревич был влюблен в сестру Вильгельма Маргариту, но ему на ней не позволили жениться и выдали ее за греческого. (…)

Александра Федоровна (урожд. принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, 1872–1918) — российская императрица, супруга Николая II (с 1894 года). Четвертая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории.

«Желание жениться продолжалось до завтрака, а потом прошло».

(Николай II)

1894 год

31 марта

В субботу уезжают в Кобург на свадьбу дочери Эдинбургской цесаревич, Владимир и Сергей с женами и Павел. Надеются, что цесаревич там посватает Алису Гессенскую. Тогда его теперешнюю страсть, Кшесинскую, надо будет удалить из Петербурга, иначе выйдет плохо.

8 апреля

Говорят, цесаревич уехал сумрачный за границу: не хочется ему жениться. Тут надвое говорят про его брак с Алисой. Боятся, что так как у Елизаветы Федоровны нет детей, то и Алиса может быть бездетна. Но жена Генриха, брата Вильгельма, тоже их сестра, а у нее есть дети, поэтому надежда, что и тут дети могут быть. Толмачев говорил, что царь не хотел пустить жену Сергея Александровича и его самого в Кобург на свадьбу, что была переписка по этому поводу, и, наконец, царь дал свое согласие. Причина этому — увлечение цесаревича Елизаветой Федоровной. Если это так, то, значит, царь не знает про проказы своего сына с Кшесинской, которые всему городу известны.

13 апреля

Вспоминали про Алису, когда она была здесь во время свадьбы своей сестры Елизаветы Федоровны. Тогда говорили, что это — невеста для цесаревича, а сестру ее, Ирену, которая замужем за Генрихом Прусским, предназначали вел. кн. Михаилу Михайловичу. Но оба вел. князя сторонились обеих сестер, не хотели и смотреть на них, не танцевали с ними. Алиса тогда была очень мила, с большими распущенными волосами. Мило очень себя держала. Про Кшесинскую говорят, что ее выслали из Петербурга, дав ей значительную сумму денег.

18 апреля

Валь говорил, что была большая сцена между царем и цесаревичем перед отъездом за границу. Сын не хотел ехать. Теперь телеграфировал, что исполняет волю царя — женится. Цесаревич сделал предложение так — спросил Алису: «Нравится ли вам Россия? Если хотите составить ее счастье — я предлагаю вам мою руку». Про невесту говорят, что она менее красива, чем Елизавета Федоровна, жена Сергея Александровича, но больше твердости характера и воли.

Про цесаревича Плеве сказал, что он очень упрям,

воздействия и советов не терпит. Даже в мелочах, когда такая-то форма бумаги требует подписи «согласен», он «согласен» не напишет, а напишет «разрешаю», и наоборот. Плеве не одобрил мысли Валя удалить Кшесинскую, находит, что это раздражит цесаревича, который, по мнению Плеве, не так уж ею увлечен; но следует удалить ее через год после свадьбы. Валь же против такой комбинации. Он находит, что следует дать ей денег и, ввиду весны, когда все уезжают, заставить ее уехать. За ней последуют Ратьков-Рожнов и Шубин-Поздеев, и ее утешит замужество с одним из них. Все думают, что, вернувшись в Петербург в субботу, цесаревич уже в воскресенье будет у Кшесинской, которая теперь разыгрывает роль больной, несчастной, никого не принимает, что опять его втянут туда, что он уже связан разными непотребными знакомствами. Она его называет «Коко», в семье он — «Nica». Алексей Александрович жалеет его, что его оторвали, и первый ему поможет. У Черевина и Воронцова царь ни разу про нее не спросил, они же не смеют первые с ним заговорить. Теперь всякому страшно идти против нее, так как силы неравны — все быстро вспомянется. Цесаревич всегда может при всяком случае высказать отцу против смельчака. (…)

1895 год

18 января

(…) Вечером у Е.В. был Радциг, камердинер царя, который ездил с ним и в кругосветное путешествие. Говорил, что Кшесинская писала царю на него анонимные письма, что он их хотел ему отдать, но так как Радциг отказался их читать, велел их сжечь. Кшесинская и в Англию невесте царя писала про него письма, тоже анонимные, что он больной, чтобы за него не выходила замуж. Она даже плакала. Но затем все выяснилось, и тогда царь сказал Радцигу, что теперь верит ему, что она дрянная женщина, так как Радциг всегда просил его, чтобы он ее бросил. (…)

1896 год

2 ноября

Вчера Комаров говорил, что молодой царице после рождения дочери запрещено было быть женой царя, и что поэтому дядюшки устроили ему снова сожительство с Кшесинской, что ширмами взят вел. кн. Сергей Михайлович, который l'amant (любовник — франц.) Кшесинской. Все это известно царице-матери, которая поэтому очень расстроена. У царя в последнее время сильные головные боли.

Селифонтов говорил, что в России, особенно между крестьянами, память Александра III нечтима; они его не любили, радуются, что он умер, что живи он — снова они были бы закрепощены, и снова бы их пороли розгами. (…)

1899 год

9 июня

Сегодня очень интересно рассказывал Н. А. Радциг (камердинер царя, который при нем с его 7-летнего возраста) про некоторые привычки царя, черты его характера и проч. Прискорбно отношение царицы-матери к сыну-царю, а особенно к молодой царице. Третьего дня, например, царица-мать приехала в Петергоф, где в настоящее время находится царь с семьей. Она посетила вел. кн. Ксению Александровну. Царь, зная, что она приехала, все время ее ожидал, во время докладов министров несколько раз справлялся, приехала ли мать, но ее все не было. Наконец царь отравил скорохода к матери узнать, будет ли она к ним, почему не приезжает. Получил ответ: потому что приглашения не получила.

Детей своих Мария Федоровна совсем не любит. Она детей никогда не ласкала. Покойный Александр III был гораздо нежнее с детьми, чем мать. Несмотря на свою суровость, бывало, царь обнимет сыновей, но мать никогда. Иногда совсем неожиданно царь заходил в спальню детей, но мать, как заведенные часы, заходила аккуратно в один и тот же час, так же, как в одно и то же время дети являлись к ней — поздороваться утром, поблагодарить после завтрака и обеда и проч. Радциг говорит, что он был полным хозяином в спальне наследника, никакого контроля за ним не было. Прислуга часто удивлялась в то время, что Александр III часто, входя в свой кабинет, запирал за собой дверь, через которую входила к нему только Мария Федоровна. Видно, что такой у нее характер, что царь от нее запирался, чтобы отдохнуть от ее капризов.

Молодой царь с 9-летнего возраста пишет свой дневник ежедневно. В свой дневник он все записывает подробно, ничего не утаивая. Тоже рассказал Радциг, какое тяжелое пережил время, когда, наследником, царь увлекался Кшесинской. Радцигу тяжело было смотреть, как Кшесинская и вся ее компания спаивали наследника ежедневно. Он не утерпел, высказал это наследнику и потому потерял свое место, но затем опять цесаревич взял его к себе и дал ему прочесть свой дневник, именно то место, которое касалось Кшесинской и всей той эпохи его жизни. Молодая царица, получавшая, будучи невестой, массу анонимных писем про жениха, тоже читала дневник царя. Пишет он ежедневно по вечерам, затем выпивает стакан свежего молока и идет спать. Когда цесаревич увлекался Кшесинской, царица-мать смотрела на это совершенно спокойно, находила это вполне нормальным, но

весь придворный entourage (антураж, окружение — франц.), кроме вел. князей, которые помогали в этом цесаревичу, очень возмущался, что выбор пал на первоклассную танцовщицу.

Теперь у царя к ней нет более никаких чувств — он любит жену, детей, и когда он с ними, он вполне счастлив. Печалит его поведение матери, над которой при дворе все смеются. У царицы-матери невозможный характер. Теперь уже там слух, что Барятинский ей надоел. Про Гессе Радциг сказал, что он тихоня, никогда ничего не говорит, что он подсунут царю маменькой, а также и оба его другие лакеи-камердинеры — Катов и Шалберов, видно, с целью шпионства. (…)

1908 год

3 апреля

Радциг говорил, что между царем и вел. кн. Николаем Николаевичем полное охлаждение, так же как и между царицей и женой этого вел. князя Анастасией Николаевной.

Вчера Рейнбот, вернувшийся из-за границы, рассказывал, как безобразно ведут себя там русские вел. князья. Рейнбот был в Париже и в Ницце, видел в Cafй de Paris в Париже вел. кн. Бориса Владимировича за ужином с кокотками во время la mi-carkme (четверг на третьей неделе Великого поста — франц.). Сидел с Борисом за одним столом и Кубе. Кокотки опутывали Бориса серпантином, привязали ему к уху шар, изображающий свинью, и в таком виде он сидел в этом обществе, где крики и смех все время раздавались на весь ресторан. В Монако Рейнбот видел вел. кн. Марию Павловну за рулеткой, там же вел. кн. Алексея Александровича с Балеттой, вел. кн. Сергея Михайловича и Андрея Владимировича с Кшесинской. (…)

Великий князь Николай Николаевич (Младший), (1856–1929) — первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего) и великой княгини Александры Петровны (урожденной принцессы Ольденбургской), внук Николая I; генерал-адъютант (1896), генерал от кавалерии (6 декабря 1900)

Встреча с тобой — самое светлое воспоминание…
Из дневника Николая II [3]

1890 год

23 марта 1890 г.

Поехал в коляске на Елагин остров в конюшню молодых лошадей. Вернулся на новой тройке. Закусывал в восемь часов. Поехали на спектакль в театральное училище. Были небольшие пьесы и балет. Очень хорошо ужинал с воспитанницами. (…)

26 марта 1890 г.

Надеюсь, что глазок и ножка поправляются… до сих пор хожу как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать. Ники.

17 июня. (…)

Происходили отрядные маневры (…) Кшесинская-вторая мне положительно очень нравится. (…)

30 июня.

Красное Село. Дело на горке сильно разгорелось… Был в театре, разговаривал с Маленькой К. перед окном (ложи). (…)

1 июля. (…)

В последний раз поехал в милый Красносельский театр проститься с К. Ужинал у мама до часу. (…)

1892 год

25 марта.

Вернулся в Аничков при снеге, валившемся хлопьями. И это называется весна? Обедал с Сергеем у себя, а потом поехал навестить Кшесинских, где провел полтора приятных часа… (…)

31 марта.

Заехали на короткое время к дяде Мише… Он повел по комнатам своей покойной жены — ничего не тронуто. (…) Вернулся в Гатчину.

У меня самое непостное настроение (в это время был Великий пост. — Б.С.).

Хорошо еще в этом случае, что живу в Гатчине и в 49 верстах от столицы. (…)

1 апреля…

Весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г. и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться…

А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) Маленькую К. Удивительная вещь, наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс, право, можно было заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да! Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив, — вот это и есть то настроение, которое я вчера назвал непостным.

Из последнего письма Николая II Матильде Кшесинской

…Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости.

О госпоже Кшесинской (Письма Императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II)

№ 97

25 июня 1915 г.

К чаю у меня был Павел, и мы много болтали. Он спрашивал, будет ли действительно Сергей уволен со своего поста, так как все против него — правильно или неправильно — и Кш. [Кшесинская] опять замешана. Она вела себя так же, как Госпожа Сух[омлинова], принимая, по-видимому, взятки и отдавая распоряжения по артиллерии. Об этом слышишь со многих сторон. Только он мне напомнил, что это должно быть твое приказание, а не Николаши, так как только ты можешь дать такое распоряжение или намекнуть, чтобы он попросил об увольнении. Великий Князь не мальчик, ты его начальство, а не Николаша — это бы очень не понравилось фамилии.

№ 192

9 января 1916 г.

Сергей, говорит, скоро едет в Ставку — по-моему, лучше не надо. Удержи его там подольше, так как он, увы, всегда сплетничает и у него такой острый критикующий язык, и его манеры перед иностранцами не очень похвальны. И потом ходят разные неясные, нечистоплотные истории про нее [Кшесинскую] и насчет взяток, об этом все говорит, и артиллерия в этом замешана.

Из дневника А. С. Суворина [4]

1893 год

8 февраля. (…)

Наследник посещает Кшесинскую и … ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиры и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5–6 часов, так что очень скучает и жалуется на скуку. (…)

14 февраля. (…)

Наследник писал Кшесинской (она хочет принимать православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей), что он посылает ей 3000 руб., говоря, что больше у него нет, чтобы она наняла квартиру в 5000 руб., что он приедет, и… «тогда мы заживем с тобой, как генералы». Хорошее у него представление о генералах! Он, говорят, выпросил у отца еще два года, чтобы не жениться. Он оброс бородкой и возмужал, но, тем не менее, маленький.

1900 год

24 февраля. (…)

Во время бенефиса Кшесинской («Матильда», «Малечка») великий князь угощал за сценой шампанским. Отец ее говорил лакеям, чтоб они откладывали бутылки и отнесли к нему. Кто-то заметил ему что-то неприятное. «Я буду жаловаться высшей театральной администрации». — «Директору театра?» — «Нет, не директору, не министру, а государю-императору!».

Среди множества подарков наследника престола Кшесинская

выделяла лишь один — портрет, который Николай Александрович вручил ей на новоселье. На своей фотографии он написал: «Моей дорогой пани».

«…Но одно поручение я все же ему не дала: принести мне спрятанную на квартире Юрьева последнюю фотографию Ники с его подписью. Покидая свой дом, я захватила с собою эту фотографию и потом положила ее в какой-то иллюстрированный журнал, который лежал на столе у Юрьева, рассчитывая, что в случае обыска там ее всего менее будут искать. Когда же я уходила из квартиры Юрьева, я эту карточку нарочно оставила, так как было бы опасно ее нести с собою».

(Матильда Кшесинская)

1902 год

23 января. (…)

В прошлое воскр. был кн. Шаховской, ругал Амфитеатрова, говорил, что погубил его, Шаховского, что «Россию» он много раз спасал, что если б он захотел найти в ней вредное направление, то его можно найти «через строку» во многих статьях. Он рассказывал, что, прочитав два столбца фельетона, нашел, что ничего нет, что это «провинциальные нравы», как сказано в заголовке, и пошел с визитами. В 5 ч. его позвал Сипягин, говорил ему, что он распустил цензоров, а Ш. отвечал, что, напротив, он так строго держит цензоров, что ни один из них не смел бы сказать ему, что в фельетоне разумеются государь и его семья.

В эти дни разговоры продолжались. Е. В. Богданович, у которого я был вчера и познакомился там с редактором «Миссионерского Обозрения», говорил, что у Сипягина говорят о том, что я чуть ли не был в заговоре с Амфитеатровым, что я дал ему 1000 р. и пригласил писать в «Нов. Вр.». Я всегда жалел и жалею, что Амфитеатров вышел из «Нов. Вр.». Что ему следовало бы побыть еще два-три года у нас и отвыкнуть от своей бестактности. Сегодня Сергеенко говорил, что летом Л. Н. Толстой, прочитав его фельетон, в котором прозрачно была рассказана история государя и Кшесинской, сказал: «Ах, он когда-нибудь такую штуку сделает, что всех удивит. Он именно такой». (…)

Возлюбленная балерина дома Романовых (Борис Вадимович Соколов)

Мария-Матильда Кшесинская, будущая великая балерина, родилась в деревне Лигово, которая ныне находится в черте Санкт-Петербурга, в польской балетной семье. Это произошло 19 (31) августа 1872 года. Ее отец Феликс Кшесинский (1823–1905) был танцовщиком Мариинского театра и прославился исполнением мазурки. Кроме того, отец Матильды был известным балетным педагогом. Феликса Кшесинского вместе с несколькими другими танцовщиками из Варшавы в Санкт-Петербург в 1851 (по другим данным — в 1853) году выписал император Николай I, большой любитель мазурки (тогда Царство Польское было частью Российской империи). Уже в Петербурге Феликс женился на польской балерине Юлии Доминской, вдове балетного танцовщика Леде. От первого брака у нее уже было пять детей, а в браке с Феликсом родилось еще четверо: Станислав, Юлия, Иосиф-Михаил и самая младшая — Матильда-Мария. Юлия тоже стала балериной и в силу более старшего возраста именовалась в Мариинке Кшесинской 1-й, тогда как Матильда стала Кшесинской 2-й. Юлия вышла замуж за барона Александра Логгиновича Зедделера, а после революции 1917 года жила вместе с Матильдой во Франции. Старший брат Иосиф Ксешинский тоже стал известным танцовщиком и балетмейстером.

В семье Матильды бытовала легенда, что шляхетский род Кшесинских находится в родстве с известным магнатским родом графов Красинских. Никаких документальных подтверждений эта легенда до сих пор не получила. Однако, как мы увидим далее, фамилию Красинская Матильда в конце концов получила.

Впервые на сцену Мариинки будущая первая балерина Российской империи вышла в балете «Конек-Горбунок», когда ей было лишь четыре года. В сцене подводного царства малышка в костюме русалочки должна была подойти к огромному бутафорскому чуду-юду рыбе-киту и вытащить из открытой пасти кольцо. Тогда еще ничто не предвещало всемирной славы балерины. В 1890 году Матильда окончила Императорское театральное училище, где училась у Льва Иванова, Христиана Иогансона и Екатерины Вазем. В том же году ее приняли в балетную труппу Мариинского театра.

Тогда на русской сцене тон задавали итальянские балерины.

Матильда испытала сильное влияние искусства Вирджинии Цукки, о чем позднее признавалась в мемуарах: «У меня было даже сомнение в правильности выбранной мной карьеры. Не знаю, к чему это привело бы, если бы появление на нашей сцене Цукки сразу не изменило бы моего настроения, открыв мне смысл и значение нашего искусства». На выпускном спектакле 23 марта 1890 года 17-летняя Матильда блестяще исполнила танец Лизы из балета «Тщетная предосторожность», того самого балета, в котором она впервые увидела Цукки. Влиятельный балетный критик Александр Плещеев, сын поэта Алексея Плещеева, уже тогда высоко оценил исполнение Матильды. Он писал: «Госпожа Кшесинская в па-де-де из «Тщетной предосторожности» произвела самое благоприятное впечатление. Грациозная, хорошенькая, с веселою детской улыбкою, она обнаружила серьезные хореографические способности в довольно обработанной форме: у госпожи Кшесинской твердый носок, на котором она со смелостью, достойной опытной балерины, делала модные двойные круги. Наконец, что опять поразило меня в молодой дебютантке, это безупречная верность движения и красота стиля».

Подчеркну, эта восторженная рецензия появилась задолго до того, как начался роман Матильды с наследником престола, и до ее знакомства с великими князьями. В данном случае знаменитому критику не приходилось лукавить душой, чтобы угодить двору. Матильда была выдающейся балериной, и это проявилось уже в самых первых ее выступлениях. А потом, как мы увидим, ее восторженно принимала британская публика, которой и дела не была до романа балерины с императором.

На выпускном гала-концерте присутствовала царская семья во главе с императором Александром III. По традиции царю должны были представить трех лучших выпускниц балетного училища. Матильда была одной из них. «Будьте украшением и славой нашего балета», — сказал ей на торжественном ужине император. И усадил юную балерину между собой и цесаревичем Николаем. В мемуарах Матильда утверждала, что они с наследником полюбили друг друга с первого взгляда: «Когда я прощалась с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мной, мы смотрели друг на друга не так, как при встрече. В его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хотя мы и не отдавали себе в этом отчета».

Николай в тот день записал в дневнике: «Поехали на спектакль в театральное училище. Были небольшие пьесы и балет. Очень хорошо ужинал с воспитанницами». Матильда же в своем дневнике отметила, что «Наследник тотчас обратился ко мне и очень меня хвалил. Он меня спросил, кончаю ли я в этом

году училище, и, когда я ему ответила, что кончаю, он добавил: «И с большим успехом кончаете!». Когда Наследник заговорил с Женей, я незаметно могла его разглядывать. Он очень понравился, и затем я уже разговаривала с ним кокетливее и смелее, не как ученица». Николай же, похоже, в тот момент Матильду еще не полюбил. Но любовь к ней настигла его очень скоро. Уже 17 июня 1890 года он отметил в дневнике: «Кшесинская-вторая мне положительно очень нравится». А 30 июня записал, что «был в театре, разговаривал с Маленькой К. перед окном (ложи)». И, наконец, два года спустя, 1 апреля 1892 года, Николай сделал наиболее подробную запись, посвященную Кшесинской: «Весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г. и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться… А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) Маленькую К. Удивительная вещь, наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс, право, можно было заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да! Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив…».

Для Матильды это была первая любовь. А для Николая — уже вторая. Первой стала платоническая влюбленность в Алису Гессенскую.

Николай II с женой Александрой Федоровной.
«Лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы».
(Николай II)

Существует версия, впрочем, не имеющая никакого документального подтверждения, что встреча Николая с Матильдой не была случайностью, а была тщательно подготовлена царской семьей. Будто бы юную балерину наследнику, что называется, «подложили», чтобы отвадить его от уже проявившейся к тому времени влюбленности в принцессу Алису Гессенскую, будущую императрицу Александру Федоровну. Родители наследника в тот момент считали ее неподходящей партией, но позднее переменили свое мнение. По другой версии,

Кшесинскую, балерину и дворянку, пусть и не знатную, выбрали для того, чтобы повзрослевший наследник не начал свою сексуальную жизнь вообще с какой-нибудь девушкой из простонародья, а то и с какой-либо из представительниц древнейшей профессии.

Обе эти версии, выставляющие августейших особ в роли банальных сводников, представляются мне неубедительными. Царская семья при всем желании не могла заранее знать, на какую именно балерину обратит свое внимание наследник, равно как и то, что ему вообще приглянется какая-нибудь из них. Да и предугадать, что именно Матильда Кшесинская с первого взгляда полюбит цесаревича, было никак невозможно.

Позднее Николай купил своей любовнице дом на Английском проспекте, прежде принадлежавший композитору Римскому-Корсакову. Там Матильда поселилась вместе с сестрой Юлией.

Роман с наследником, уже в начале 1893 года перешедший из платонической во вполне плотскую стадию, закономерно завершился после того, как 7 апреля 1894 года было объявлено о помолвке Николая с Алисой Гессенской. Перед свадьбой, состоявшейся, несмотря на траур по умершему Александру III, 14 (26) ноября 1894 года, немецкая принцесса была перекрещена православие и стала Александрой Федоровной. Николай сообщил супруге о своем романе с Кшесинской, как и о том, что после помолвки он прекратил с Матильдой все любовные отношения. В ответ Александра Федоровна сделала запись в его дневнике: «Сделала в дневнике Николая такую запись: «Мы все терпим искушения в этом мире и, будучи ещё молоды, не всегда можем бороться и удержаться от искушений, но, когда мы раскаиваемся, Бог прощает нас. Прости меня за эту запись, но я хочу, чтобы был совершенно уверен в моей любви к тебе, в том, что я люблю тебя ещё больше, чем до того, как ты рассказал мне этот маленький эпизод, твоё доверие тронуло меня так глубоко. Может быть, я буду достойна такого доверия. Боже, сохрани меня и тебя, возлюбленный Ники»».

На смену Николаю в качестве любовника Матильды пришел великий князь Сергей Михайлович, внук императора Николая I, в дальнейшем ставший генерал-инспектором артиллерии. Он был старше Матильды на три года и являлся близким другом Николая.

Много лет спустя Кшесинская писала: «Для меня было ясно, что у Наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нельзя сказать, что он был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был всегда

правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сделан ни для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть. Но никогда, конечно, я не убеждала его отказаться от Престола…». Трудно сказать, насколько Кшесинская здесь искренна. Ведь писалось все это через много десятилетий, после революции 1917 года.

Уже в первый свой сезон Кшесинская, несмотря на свой небольшой рост (157 см, почему ее и называли «маленькой Матильдой»), станцевала в двадцати двух балетах и двадцати одной опере. Возможно, такая востребованность юной балерины объяснялась не только ее действительно незаурядным талантом, но и тем немаловажным обстоятельством, что в нее влюбился наследник престола.

Перепадали ей и серьезные партии. Матильда танцевала в балетах Мариуса Петипа и Льва Иванова, исполняя партии феи Драже в «Щелкунчике», Пахиты в одноимённом балете, Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и Никии в «Баядерке». Первой большой ролью Кшесинской стала партия Мариетты-Драгониаццы в итальянском балете «Калькабрино». Затем, после отъезда итальянки Карлотты Брианца на родину, к Матильде перешла роль принцессы Авроры в «Спящей красавице». К коронационным торжествам в Москве в мае 1896 года, закончившихся Ходынской катастрофой, Мариинский театр готовил парадную постановку «Жемчужины». Однако первоначально в этом балете Кшесинской вообще не предложили никакой партии. Тогда она пожаловалась великому князю Владимиру Александровичу. Дальше все разрешилось, как в волшебной сказке. Кшесинская вспоминала: «Дирекция Императорских театров получила приказ свыше, чтобы я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве. Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал. Дирекция своего прежнего решения не переменила бы… Я убедилась, что наша встреча с ним не была для него мимолетным увлечением, и он в своем благородном сердце сохранил уголок для меня на всю свою жизнь». Дирекция же убедилась, что с балериной, пользующейся августейшим покровительством, лучше не ссориться. К тому времени балет «Жемчужина» был почти полностью готов, все роли распределены и отрепетированы. Чтобы включить Кшесинскую в спектакль, композитору, итальянцу Рикардо Дриго, пришлось срочно написать новую музыкальную партию, а балетмейстеру Петипа — поставить для нее специальное па-де-де. Понятно, что ни у того, ни у другого любви к Матильде от этого не прибавилось.

В 1896 году, в возрасте всего 24 лет, Кшесинская получила статус прима-балерины императорских театров. Очевидно, здесь не обошлось без участия императора и Сергея Михайловича, так как сам Петипа был решительно против того, чтобы Матильде была оказана столь большая честь.

Став примой-балериной, Кшесинская поставила условие: она будет танцевать только три месяца в году, чтобы в остальное время быть свободной для светской жизни. Она также добилась повышения жалованья ведущим артистам Мариинки. Вместе с тем, Кшесинская всячески противодействовала приглашению в труппу иностранных балерин.

Матильда выходила на сцену, увешанная настоящими драгоценностями — бриллиантами, жемчугами, сапфирами, подаренными ей ее сановными любовниками: великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем и самим императором Николаем II.

Но Кшесинской было ясно, что ее техника отстает от виртуозной техники итальянских балерин. Тогда Матильда с 1898 года начала брать уроки у итальянского танцовщика и педагога Энрико Чекетти и довольно быстро овладела необходимыми техническими навыками. Это позволило дополнить мягкую пластику и выразительные руки, свойственные русской балетной школе, отчётливой и виртуозной техникой ног, которой в совершенстве владела итальянская школа. Благодаря этому Кшесинская первой среди русских танцовщиц исполнила на сцене 32 фуэте подряд. Ранее этим трюком удивляли русскую публику только итальянки Эмма Бессон и Пьерина Леньяни.

В 1900 году Кшесинская станцевала бенефис в честь десятилетия своего пребывания на сцене, хотя по правилам такой бенефис полагался только в честь 20-летия творческой деятельности балерины императорских театров. Но для Матильды правила были не писаны. На обеде после бенефиса Кшесинская познакомилась с великим князем Андреем Владимировичем, который был на шесть лет ее моложе. Как позднее балерина утверждала в своих мемуарах, они, как и в случае с Николаем, полюбили друг друга с первого взгляда. Князь Андрей часто навещал ее на репетициях, дома и на даче в Стрельне. Осенью 1901 года любовники отправились в путешествие по Европе. Они поодиночке, чтобы соблюсти инкогнито, приехали в Венецию, а оттуда, уже не таясь, отправились в путешествие по Италии, а затем заглянули в Париж. Впрочем, их роман уже давно был секретом Полишинеля. О нем, как и о романе с великим князем Сергеем Михайловичем, знал весь светский Петербург, кроме, возможно, матери Андрея, великой княгини Марии Павловны,

которая Кшесинскую недолюбливала. Уже на пути в Россию Матильда поняла, что беременна.

18 июня 1902 года у Кшесинской родился сын Владимир. Роды были тяжелыми, но мать и ребенка врачи все-таки спасли. А уже через два месяца Кшесинская вновь танцевала на сцене Мариинки. Ребенка назвали в честь одного великого князя — Владимиром, по отчеству Андрея Владимировича. А вот отчество, Сергеевич, дали в честь имени другого великого князя — Сергея Михайловича. Поскольку в период, предшествовавший беременности, Матильда имела интимные отношения с обоими своими тогдашними любовниками, то нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, кто именно из них был отцом мальчика. В обществе распространялись слухи, что отцом ребенка является сам император Николай II, но они вряд ли соответствуют действительности. У обремененного массой протокольных обязанностей и находящегося под пристальным вниманием супруги самодержца практически не было шансов уединиться с балериной. Позднее Кшесинская утверждала, что родила ребенка от Андрея Владимировича, а отчество Сергеевич дала сыну, чтобы скрыть роман с Андреем от Марины Павловны. Но Сергей Михайлович, продолжавший покровительствовать балерине, до самой своей смерти считал, что Владимир — это его сын. По Высочайшему указу от 15 октября 1911 года он получил фамилию «Красинский» и потомственное дворянство.

Матильда Кшесинская в Бельгии с Великим князем Андреем Владимировичем и сыном Владимиром. 1907 г.

В 1904 году Кшесинская уволилась из театра по собственному желанию, и после полагающегося прощального бенефиса с ней был заключён контракт на разовые выступления — сначала с оплатой по 500 рублей за каждое выступление, с 1909 года — по 750. Реально в год она зарабатывала в Мариинке до 7 тыс. рублей.

В 1906 году Кшесинская переселилась в знаменитый особняк

в стиле «северный модерн» — дом № 1 по Кронверкскому проспекту (он же — дом № 2 по Б. Дворянскому переулку), вошедший в историю под названием «особняк Кшесинской». Он был построен в 1904–1906 годах специально для нее по проекту архитектора Александра фон Гогена. Это был настоящий двухэтажный дворец длиной 50 и шириной 30 метров. Его обставили согласно пожеланиям Кшесинской: зал — в стиле русский ампир, салон — в стиле Людовика XVI, а спальню и уборную — в английском стиле, с белой мебелью и обитыми ситцем стенами. Некоторые интерьеры Кшесинская разработала сама. Модную мебель поставил известный французский фабрикант Мельцер, а мебель для комнат прислуги — фабрика Платонова. Люстры, бра, канделябры, ковры, ткани для обивки мебели и стен и прочая обстановка была выписана из Парижа. Матильда ни в чем себе не отказывала, привыкнув жить на широкую ногу.

Стоимость особняка и обстановки составляла не менее 500 тыс. рублей, и Матильде даже с ее высоким 7-тысячным годовым жалованьем таких расходов было не потянуть. Здесь, несомненно, не обошлось без живейшего участия Сергея Михайловича, как раз в 1904 году ставшего инспектором, а в 1905 году — генерал-инспектором всей русской артиллерии. На этом посту он заслужил печальную славу первого коррупционера Российской империи. Именно через Артиллерийское ведомство распределялась львиная доля российских государственных заказов на десятки и сотни миллионов рублей. Страна восстанавливала флот, почти полностью уничтоженный в русско-японскую войну, и готовилась к будущей Первой мировой войне. А это требовало производства большого количества артиллерийских орудий и снарядов к ним. Сергей Михайлович имел самое непосредственное отношение к распределению государственных заказов, явно не бескорыстно отдавая предпочтение одним поставщикам перед другими и получая за это банальные «откаты». Последнее и в Российской империи считалось преступлением, но привлекали к ответственности, как правило, только рядовых исполнителей, но не великого князя. Так, в 1909–1910 годах на всю Россию прогремело «дело казанских интендантов», в котором фигурировали хищения и «откаты» по Артиллерийскому ведомству на многие миллионы рублей. Но в результате к тюремному заключению на срок до 3 лет был приговорен десяток штабс-капитанов, причем почти все они были досрочно освобождены. А генералы во главе с генерал-инспектором артиллерии оказались как бы ни при чем. Разумеется, при таких не слишком праведных доходах Сергей

Михайлович без труда находил средства и на роскошный особняк, и на драгоценности для своей любимой. Журналист С. Яворский уже в эмиграции вспоминал: «Избалованная и всеми любимая, Кшесинская жила в такой роскоши, о которой никогда не смела и мечтать. Ее драгоценности славились не только в Петербурге, особенно известно было ее бриллиантовое колье, которое она носила и на сцене. Кто в Петербурге не знал ее роскошного особняка? Он был полон чудесными произведениями искусства, в нем был огромный зимний сад с редкостными растениями и цветами. Кшесинская устраивала приемы, собиравшие самое изысканное петербургское общество». Французский повар Кшесинской Дени славился на весь Петербург. Сама балерина с детства любила вкусно поесть, но вынуждена была держать себя на строгой диете.

Тем временем в Мариинский театр пришел балетмейстер-реформатор Михаил Фокин. Для его балетов Кшесинская, «звезда» классического балета, не очень подходила. Там блистали Карсавина, Вера Трефилова, Анна Павлова, ставшая главной соперницей Матильды на Мариинской сцене, а также Вацлав Нижинский. Последний стал партнером Кшесинской. Она покровительствовала молодому танцовщику. Сначала и с Фокиным у Матильды были хорошие отношения, но потом они разладились. Тем не менее, она участвовала в фокинских постановках «Эвника» (1907), «Бабочки» (1912) и «Эрос» (1915). Однако Кшесинская чувствовала, что в этих новаторских балетах для нее все меньше подходящих партий. Правда, знаменитый продюсер «русских сезонов» Сергей Дягилев, чьим любовником стал Вацлав Нижинский, организовал Кшесинской успешные гастроли в Англии в рамках «Русских сезонов» в Англии в 1911 году. Там она блеснула своим мастерством и затмила Нижинского. Для её выступлений было выбрано «Лебединое озеро», в том числе и потому, что Дягилев хотел получить доступ к принадлежавшим ей декорациям балета.

Но Фокину и Дягилеву нужны были такие балеты, где танцовщики играли не меньшую роль, чем балерины, а для ролей в таких балетах Матильда не подходила. Она продолжала выступать в России и за рубежом с неизменным успехом, практически не зная неудач, но возраст уже поджимал. Перед началом каждого сезона Матильда приглашала на репетицию сестру и немногих других балерин, которым доверяла, и просила, чтобы они честно сказали ей, можно ли ей еще танцевать. Но последние годы творчества Кшесинской как раз стали временем максимального расцвета ее таланта. Именно тогда у нее появился новый партнер, Петр Николаевич Владимиров, окончивший

балетное училище в 1911 году. Он был младше Кшесинской на 21 год. И Матильда в очередной раз влюбилась. Чтобы танцевать с Владимировым, Кшесинская специально решила выступить в «Жизели», что для 44-летней балерины было настоящим подвигом. К тому же раньше она не исполняла лирико-романтические партии. И потерпела едва ли не единственную неудачу в своей карьере. Но тут же реабилитировалась, блистательно станцевав свою любимую «Эсмеральду».

Сергей Михайлович отнесся к новому увлечению Матильды с пониманием. А вот Андрей Владимирович жутко приревновал ее к новому партнеру и вызвал Владимирова на дуэль. Они стрелялись в Париже, в Булонском лесу. Великий князь прострелил танцовщику нос, и бедняге пришлось делать пластическую операцию.

Во время Первой мировой войны Андрей Владимирович вернулся на военную службу, с которой уволился незадолго до ее начала. Окончивший еще в 1906 году Военно-юридическую академию по 1-му разряду, он состоял при Генеральном штабе. 7 мая 1915 года великий князь Андрей Владимирович был назначен командующим лейб-гвардии Конной артиллерией, а 15 августа того же года произведён в генерал-майоры с утверждением в должности и зачислением в Свиту императора. После свержения монархии Андрей Владимирович 3 апреля 1917 года был уволен от службы «по прошению» с мундиром и уехал в Кисловодск.

Матильда во время Первой мировой войны активно занималась благотворительностью. Она участвовала в прифронтовых концертах, выступала в госпиталях и на благотворительных вечерах, приняла активное участие в обустройстве двух госпиталей для раненых, организовывала поездки раненых на свою дачу в Стрельне и походы врачей и выздоравливающих в театр. И была потрясена до глубины души, когда после революции те же солдаты разграбили ее особняк. Замечу, что Кшесинская вообще никому в жизни осознанно не делала зла. В одном из писем Андрею Матильда пафосно признавалась: «Мой долг сегодня — всеми силами служить родному Отечеству и Государю».

Во время Февральской революции Кшесинская вместе с сыном Владимиром в большой спешке покинули особняк, почти ничего из вещей не успев взять с собой. Опустевшее здание было самовольно захвачено солдатами мастерских запасного автобронедивизиона, которые начали грабить имущество балерины. По договоренности с солдатами Петербургский комитет РСДРП(б), его военная организация, а затем и ЦК

РСДРП(б), экспедиция газеты «Правда», редакция газеты «Солдатская правда» разместились в особняке Кшесинской. С 3 (16) апреля 1917 по 4 (17) июля 1917 здесь работал и не раз произносил речи с балкона особняка вождь большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Обед в Париже. 1932 г. Слева направо: сидят — князь Владимир Андреевич Красинский, рядом с ним возможно жена великого князя Бориса Владимировича Зинаида Рашевская, рядом с ней Великий Князь Андрей Владимирович. Справа налево: вторая Матильда Кшесинская, тогда уже княгиня Красинская, следом за ней великий князь Борис Владимирович (третий справа)

Так особняк Кшесинской на Кронверкском проспекте стал штабом партии большевиков, но расхищение имущества это не остановило. Тогда в письме на имя прокурора Петроградской судебной палаты Кшесинская просила: «1) Принять меры к освобождению моего дома от посторонних лиц и дать мне возможность спокойно вернуться в него. 2) Начать расследование по делу о разграблении моего имущества в том же доме». Однако прокурор с революционными солдатами связываться побоялся и лишь запросил управление запасного автобронедивизиона о «возможности освободить от постоя дом Кшесинской ввиду её ходатайства», а также затребовал от комиссариата милиции Петроградского района «дознание о расхищенном имуществе». Оба запроса остались без ответа.

Впрочем, некоторую часть имущества балерине все же удалось вернуть. Она вспоминала: «Золотой венок и ящики с серебром мне потом вернули из Градоначальства. Венок я сдала на хранение в Общество Взаимного Кредита вместе с некоторыми другими вещами, которые Арнольд (лакей-швейцарец. — Б.С.) успел спасти из моего дома. Одиннадцать же ящиков я сдала на хранение в Азовско-Донской банк, директором которого был Каминка, мой большой друг и сосед по имению в Стрельне. У меня до сих пор хранится расписка банка в принятии на хранение этих ящиков. Когда я здесь, в эмиграции, встретила Каминку, он мне сказал, что мои ящики так хорошо запрятаны, что их никогда не найдут. Он даже тогда выражал надежду, что их скоро мне вернут.

Мои самые крупные и ценные вещи хранились… у Фаберже, но после переворота он попросил меня взять их к себе, так как он опасался обыска и конфискации драгоценностей у него в сейфах, что в действительности вскоре и произошло. Эти драгоценности вместе с вынесенными мною лично из дома я уложила в особый ящик установленного размера и сдала на хранение в Казенную Ссудную Казну на Фонтанке, № 74, и сама дала им оценку, умышленно уменьшив ее в сравнении с действительной их стоимостью, чтобы не платить крупную сумму за их хранение. Мне было тяжело в материальном отношении, и платить много я не могла. Директор Ссудной Казны был крайне удивлен такой низкой оценке. «Ведь их тут на несколько миллионов», — заметил он мне, когда я сдавала свои вещи. Я сохранила бумагу от Ссудной Казны, по которой вынуть ящики кроме меня лично могла еще только моя сестра Юлия». После Октябрьской революции и национализации большевиками банков и ссудных касс сокровища Кшесинской были объявлены общенародной собственностью. Неизвестно, удалось ли представителям власти найти их, или бриллианты и другие драгоценности до сих пор хранятся где-то в тайниках. Не исключено также, что какую-то часть драгоценностей балерина все-таки захватила с собой при отъезде в Кисловодск.

Сокровища балерины, будто бы оставшиеся до сих пор не найденными в Петербурге, и сегодня будоражат умы кладоискателей. Это — еще одна тайна, связанная с именем Матильды Кшесинской.

Еще Кшесинской вернули один из двух ее автомобилей, конфискованных в первые дни после революции. Она его тут же продала, поскольку очень нуждалась в наличных деньгах.

Адвокат Кшесинской присяжный поверенный Владимир Хесин возбудил в суде гражданский иск о выселении. В качестве

одного из ответчиков истицей был указан «кандидат прав В. И. Ульянов (лит. псевдоним — Ленин)». Адвокатом ответчиков выступил тесно связанный с большевиками адвокат Мечислав Козловский. 5 мая 1917 года мировой судья 58-го участка Чистосердов постановил: «Выселить из дома № 2–1 по Б. Дворянской ул. в течение 20 дней» все революционные организации «со всеми проживающими лицами и очистить помещение от их имущества». Иск в отношении Ленина был оставлен без рассмотрения в связи с «непроживанием его в особняке». Центральный и Петербургский комитеты РСДРП(б), выполняя судебное официальное постановление, заявили о выезде из особняка Кшесинской, но военная организация партии наотрез отказалась выполнить судебное решение, а вслед за ней и Петербургский комитет остался в особняке. Только 6 июля большевики были изгнаны из особняка — после того, как попытались свергнуть Временное правительство. После этого особняк был занят верным правительству самокатным батальоном, солдаты которого расхитили то, что не успели разграбить до них. Адвокат Хесин подавал новые иски, добиваясь не только возвращения здания прежней владелице, но и возмещения ущерба, который он оценил в треть миллиона рублей. Ни к каким результатам это не привело.

В июле 1917 года Кшесинская навсегда покинула Петроград, что, возможно, спасло ее от гибели. Учитывая тесные связи Матильды со свергнутым домом Романовых, она вполне могла стать со временем жертвой «красного террора». Последним выступлением Кшесинской был номер «Русская», показанный на сцене Петроградской консерватории.

13 июля 1917 года Матильда с сыном выехали на поезде в Кисловодск, куда прибыли 16 июля. Тут ее уже ждал Андрей Владимирович. Вместе с матерью, великой княгиней Марией Павловной, и братом Борисом он занимал отдельный дом. В Кисловодске Владимир успел закончить местную гимназию.

После Февральской революции великий князь Сергей Михайлович вернулся из Ставки, потерял должность генерал-инспектора артиллерии и был уволен из армии. Он предложил Кшесинской вступить в законный брак. Но она ответила отказом, так как в этот момент любила Андрея Владимировича. В мемуарах она так описала этот эпизод: «Великий князь сделал мне предложение, но совесть не позволяла мне его принять, ведь Вова был сыном Андрея. К великому князю Сергею Михайловичу я испытывала бесконечное уважение за его преданность и была благодарна за все, что он для меня сделал в течение всех этих дней, но я никогда не чувствовала к нему такой любви, как к

Андрею. Это была моя душевная трагедия. Как женщина, я была душой и телом предана Андрею, но чувство радости от предстоящей встречи было омрачено угрызениями совести из-за того, что я оставляла Сергея одного в Петербурге, зная, что ему угрожает большая опасность. Кроме того, мне было тяжело разлучать его с Вовой, которого Сергей безумно любил, хотя и знал, что тот не был его сыном. Со дня рождения Вовы он отдавал ему каждую свободную минуту, заботился о его воспитании, когда я во время театрального сезона была занята на репетициях и не имела времени для занятий с сыном, как мне того хотелось». А согласись она на предложение Сергея Михайловича, того, вполне возможно, и не постигла бы трагическая участь, и он смог бы уехать с Матильдой в эмиграцию. А так Сергей Михайлович остался в Петрограде, в начале апреля 1918 года был выслан в Вятку, в мае 1918 года перевезён в Екатеринбург, а затем в Алапаевск. В ночь на 18 июля 1918 вместе с другими членами дома Романовых Сергей Михайлович был вывезен за город и, осознав, что их ведут на казнь, оказал сопротивление конвою и был застрелен. Его тело вместе с ещё живыми алапаевскими узниками из рода Романовых было сброшено в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижняя Селимская. Когда Алапаевск был занят Народной армией Комуча, и тела казненных подняли из шахты, в руке Сергея Михайловича был зажат маленький золотой медальон с портретом Матильды Кшесинской и надписью «Маля». А отрекшийся от престола император Николай II, другой любовник Матильды, был казнен вместе с семьей и слугами в Ипатьевском доме в Екатеринбурге днем раньше, 17 июля.

Матильда так описала обе эти трагедии своих возлюбленных в своих воспоминаниях: «До марта месяца (1918 года. — Б.С.), покуда он оставался в Петрограде, я переписывалась с Сергеем Михайловичем довольно-таки регулярно, и из его письма я узнала, что около 20 марта (по старому стилю. — Б.С.) он и великие князья, проживавшие в Петрограде, должны будут по приказу властей покинуть столицу. После его отъезда письма стали приходить реже и нерегулярно, но все же по ним мы всегда знали, где он находится. Сначала он был в Вятке, затем переехал в Екатеринбург, откуда я получила несколько открыток и одно письмо. Многие наши письма доходили и до него. После довольно долгого перерыва мы получили от него в конце июня телеграмму, посланную 14-го ко дню рождения Вовы. Мы получили ее за несколько дней до его трагической смерти. Из нее мы узнали, что он в Алапаевске. Это была последняя от него весточка. Вскоре после по радио сообщили, что Сергей и члены

семьи, находившиеся вместе с ним в заключении в Алапаевске, похищены белогвардейцами. Это сообщение, увы, было заведомо ложное. Но кто тогда мог допустить такое вероломство. А как тогда мы были счастливы, что они спасены. Год почти что спустя, когда Сергея уже не было в живых, мы получили несколько открыток и даже одну телеграмму, застрявшие в пути. (…)

Великий князь Сергей Михайлович, Матильда Кшесинская, Великий князь Андрей Владимирович и др. 1909 г.

Еще в первых числах июля (по старому стилю. — Б.С.) по Кисловодску распространился слух о гибели в Екатеринбурге государя и всей царской семьи. Мальчишки бегали по городу, продавая листки и крича: «Убийство Царской семьи», но никаких подробностей не было. Это было настолько ужасно, что казалось невозможным. Все невольно лелеяли надежду, что это ложный слух, нарочно пущенный большевиками, и что на самом деле их спасли и куда-то вывезли. Эта надежда еще долго таилась в сердцах. Я до сих пор слышу голоса этих мальчишек, как эхо, расходившиеся по всем направлениям».

Эти известия потрясли Матильду, но она нашла в себе силы жить дальше — ради мужа и сына.

7 августа 1918 года великие князья Борис и Андрей Владимировичи были арестованы большевиками и перевезены в Пятигорск, но через день их отпустили под домашний арест. 13 августа Борис, Андрей и его адъютант полковник Федор Кубе

бежали в горы, в Кабарду, где скрывались до 23 сентября. Кшесинская оказалась вместе с сыном, семьей сестры и с балериной Зинаидой Рашевской, впоследствии ставшей женой Бориса Владимировича, и другими беженцами, которых было около сотни, в станице Баталпашинской, где и оставалась до 19 октября (все даты, связанные с пребыванием на Северном Кавказе, по старому стилю. — Б.С.) Туда из Кисловодска, освобожденного от большевиков, их эвакуировал белопартизанский отряд атамана Андрея Шкуро. Позднее караван под охраной казаков двинулся в Анапу, где решила временно поселиться великая княгиня Мария Павловна. В Анапу из Туапсе их доставил пароход «Тайфун». Там Вова заболел испанкой, но его удалось спасти. В мае 1919 года все вернулись в Кисловодск, уже занятый белыми. Андрей Владимирович захотел вступить в Вооруженные силы Юга России, но получил отказ от генерала Антона Ивановича Деникина. Тот опасался вступления великого князя в армию по политическим причинам, полагая, что это усилит монархические настроения среди значительной части офицерства. В Кисловодске Андрей и Матильда оставались до конца 1919 года. После того, как стало известно о разгроме деникинской армии под Москвой и приближению советских войск к Северному Кавказу, все семейство отбыло в Новороссийск, уже готовясь к вероятной эвакуации в Европу. Беженцы ехали на поезде из 2-х вагонов, причём великая княгиня Мария Павловна ехала в вагоне 1-го класса вместе со своим близким окружением, а Кшесинская с сыном теснились в вагоне 3-го класса.

В Новороссийске сановные беженцы прожили 6 недель прямо в вагонах. Кругом свирепствовал сыпной тиф, но Матильду, Андрея и Владимира эта болезнь, косившая ряды белых и беженцев, на этот раз счастливо миновала. 3 марта 1920 года, после получения известий о прорыве красными обороны белых на Дону и Маныче, разгроме белой конницы и начале стремительного отступления ВСЮР к Новороссийску, Кшесинская с мужем и сыном отплыли на пароходе «Семирамида» итальянского «Триестино-Ллойд» в Константинополь. Там семья получила французские визы.

Последний партнер Кшесинской Петр Владимиров вскоре после Октябрьской революции пытался выбраться из России через Финляндию, но не смог. Попасть в Париж ему удалось только в 1921 году. Но как раз в этом году Андрей Владимирович и Матильда заключили официальный брак, пусть и морганатический. Владимиров же, чья связь с Кшесинской не возобновилась, в 1934 году уехал в США, где стал очень успешным балетным педагогом. А старший брат Матильды

Феликсовны Иосиф Кшесинский остался в России, продолжал танцевать и ставить балеты в Кировском театре (бывшем Мариинском) и умер во время блокады Ленинграда в 1942 году.

Матильда и Андрей обосновались во Франции, на принадлежавшей Матильде вилле в городке Кап д'Ай на Лазурном берегу. Туда они прибыли 25 марта 1920 года. Вскоре умерла мать Андрея, великая княгиня Мария Павловна, противившаяся браку сына с балериной. Сразу по окончании траура Матильда и Андрей, получив позволение старших родственников, обвенчались в Каннах 30 января 1921 года. А в 1925 году Матильда была крещена в православии под именем Мария. Ей был присвоен титул светлейшей княгини Романовской-Красинской, а ее сын Владимир был официально признан сыном Андрея Владимировича и тоже светлейшим князем Романовским-Красинским, но в дальнейшем предпочитал называться просто Романовым.

Кшесинская категорически отказалась возобновить балетную карьеру, несмотря на неоднократно поступавшие предложения, в том числе от Дягилева. Она чувствовала, что ее время ушло. Да и прежнего положения первой балерины России, пусть даже зарубежной, эмигрантской России, ей было уже не вернуть. А второй она быть не желала. Высокие покровители Матильды были казнены большевиками, и соперницы и соперники в балетном мире теперь легко могли бы на ней отыграться, проявив всю прежде сдерживаемую ненависть к романовской фаворитке.

В апреле 1929 года, незадолго до смерти Дягилева, Матильда открыла в Париже балетную студию. У нее осваивали азы балетного искусства две дочери Федора Шаляпина — Марина и Дарья — и знаменитая «бэби-балерина» «Русского балета Монте-Карло» Татьяна Рябушинская, дочь миллионера и мецената Михаила Павловича Рябушинского, разорившегося во время «Великой депрессии». А звезды английского и французского балета Марго Фонтейн, Иветт Шовире, Памелла Мей не стеснялись брать у нее уроки мастерства. Одновременно в школе училось более 100 человек. В развитии школы Кшесинской помогали Тамара Карсавина, Анна Павлова, Серж Лифарь, Михаил Фокин и другие «звезды» русского балета, оказавшиеся в эмиграции. Все вспоминают, что во время уроков Матильда была очень тактична и никогда не повышала голоса на своих учеников.

30 ноября 1926 года великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя главой Российского императорского дома и императором в изгнании, пожаловал Матильде-Марии Кшесинской и её потомству титул и фамилию князей Красинских, а 28 июля 1935 года — светлейших князей Романовских-

Красинских. Андрей Владимирович, в свою очередь, поддержал притязания своего старшего брата Кирилла Владимировича на императорский титул, в условиях эмиграции — вполне опереточный, и был августейшим представителем государя императора Кирилла I во Франции и председателем Государева совещания при новоиспеченном императоре. Основная часть монархической эмиграции претензии Кирилла Владимировича отвергала и считала главой Русского императорского дома в изгнании великого князя Николая Николаевича (младшего), вплоть до его смерти во Франции в 1929 году.

В том же 1935 году семья Кшесинской из-за финансовых трудностей продала виллу в Кап д'Ай. Разорению способствовало увлечение Матильды рулеткой, поскольку играла она далеко не всегда удачно. В Монте-Карло ее даже прозвали «Мадам Семнадцать», поскольку она любила ставить на число 17.

В 1936 году Матильда Кшесинская официально попрощалась со сценой в лондонском Ковент-Гардене и так потрясла британскую публику, что она вызывала 64-летнюю русскую балерину на бис аж 18 раз! Актриса буквально утонула в море цветов. Она исполнила тот же номер «Русская», что и при прощании с Петроградом в 1917 году.

Во время Второй мировой войны, когда студия не отапливалась, Кшесинская заболела артритом и двигалась с большим трудом. К счастью, у нее никогда не было недостатка в учениках. Главные волнения Матильды и Андрея во время Второй мировой войны были связаны с сыном. 23 июня 1941 года, на следующий день после вторжения Германии в СССР, Владимир Красинский был арестован на оккупированной немцами территории Франции и в числе 300 русских эмигрантов оказался в лагере для интернированных в Компьене. Причиной ареста стало членство Владимира в просоветском «Союзе Младороссов». Но в конце концов хлопоты родителей увенчались успехом, и после 144-дневного заключения сын был освобожден.

В эмиграции при участии Андрея Матильда написала мемуары, впервые опубликованные на французском в 1960 году. По-русски ее «Воспоминания» увидели свет в России только в 1992 году, после распада СССР. Ее супруг до публикации книги мемуаров не дожил, так как скончался 30 октября 1956 года. Горничная Людмила Румянцева, бывшая портниха Мариинского театра, одевавшая Матильду на спектаклях, а потом последовавшая за ней в эмиграцию, умерла пятью годами раньше.

Кшесинская не дожила всего девять месяцев до своего столетнего юбилея, пережив почти всех своих друзей и родных. Она умерла, после непродолжительной болезни, 6 декабря 1971

года. Похоронили Матильду на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем и сыном, умершим три года спустя, 23 апреля 1974 года. На надгробии была сделана надпись: «Светлейшая княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская, заслуженная артистка императорских театров Кшесинская».

Матильда Кшесинская с ученицами в своей студии. Париж. 1950-е гг.

Так ушла из жизни женщина, оставшаяся в истории в трех ипостасях: как первая возлюбленная наследника российского престола, как первая балерина на российской сцене в начале XX века и как владелица роскошного петроградского особняка, в котором в 1917 году творилась большая история. Сама она не ощущала себя исторической личностью и, как любой нормальный обыватель, стремилась держаться подальше от исторических потрясений. Отличаясь определенной практичностью и расчетливостью в построении своей балетной карьеры, она была удивительно непрактична в повседневной жизни и в тратах денег, которые до рокового 1917 года доставались ей удивительно легко. Но в пору житейских трудностей в эмиграции, когда приходилось зарабатывать хлеб насущный тяжким ежедневным трудом балетного педагога, Матильда не сломалась, не опустила руки, не озлобилась на людей и всем желала только добра. А еще она оказалась счастливее всех трех своих именитых любовников. Двое из них приняли мученическую смерть от рук большевиков. Но и третий, который в конце концов стал ее законным мужем, и которому посчастливилось умереть в собственной постели, хотя и вдали от родины, вошел в историю только как великий князь и муж балерины Кшесинской, ничем более заметным в жизни так и не отметившись. А Матильда навсегда осталась великой русской балериной, хотя и польской национальности.

* * *

Настоящий сборник воспоминаний о Матильде Кшесинской является первым в России. Большинство мемуаристов описывает жизнь и карьеру балерины до 1917 года, когда она была одной из ярчайших звезд на российском балетном небосклоне. Немало материалов также посвящено ее роману с будущим императором. Далеко не все мемуаристы были настроены к Матильде благожелательно. И у директоров императорских театров, и у собратьев по балетному цеху вызывали зависть и раздражение близость Кшесинской к императорскому двору, благодаря чему она порой могла не считаться с волей директоров и балетмейстеров. Все это необходимо помнить при чтении посвященных Матильде мемуаров и дневников.

В этих свидетельствах содержится немало балетных понятий и еще большее число имен людей, с которыми Кшесинская сталкивалась на протяжении своей яркой и неординарной жизни. Комментарии всех этих реалий и персоналий, вероятно, удвоили бы объем настоящего сборника. Поэтому мы ограничились

краткими биографическими справками о представленных в сборнике мемуаристах, которые помещены в конце издания в алфавитном порядке. Интересующихся же читателей мы отсылаем к изданиям, из которых взяты приводимые мемуарные и дневниковые фрагменты, и названия которых приведены в нашей публикации. Там такой реальный комментарий, как правило, имеется.

Возмутительная переписка Наследника (Из дневника графа В. Н. Ламсдорфа) [5]

21 января 1894 г.

Выходя от господина Гирса, сталкиваюсь с фельдъегерем, доставившим письмо; он рассказал мне, что некоторые сановники посылают пакеты на имя государя, но тот пока ими заниматься не может, и бумаги возвращаются обратно с резолюциями наследника, который продолжает забавляться с балериной Кшесинской; один из молодых людей нашей канцелярии как-то на днях вечером был у этой танцовщицы, когда ей принесли записку от наследника-цесаревича; он сообщил, что сейчас задерживается у больного отца, но обязательно приедет, как только представится возможность. (…)

4 апреля 1894 г.

После завтрака ко мне заходит Деревицкий: он близок с несколькими молодыми людьми, бывающими у балерин Кшесинских; рассказывают, будто бы та из сестер, которой покровительствует наследник-цесаревич, упрекала его, что он отправляется к своей «подлой Алиске», и что будто бы его императорское высочество применил тот же самый изящный эпитет, протестуя против намерения женить его. В 2 часа меня вызывает министр. Мы разговаривали, в частности, о том, что произойдет в Кобурге; г-н Гирс тоже сомневается, чтобы великий князь наследник-цесаревич решился на женитьбу; ему известно из надежных источников, что начальник полиции Валь жалуется на трудности, возникающие у полицейских при ночных посещениях балерины наследником-цесаревичем. Великий князь предпочитает возвращаться от нее пешком и инкогнито. Заметив, что за ним ведется наблюдение во время таких прогулок, он пожаловался генералу Валю; тот попробовал оправдать принимаемые меры, доказывая, что они имеют целью заботу о безопасности, а не слежку; в ответ наследник-цесаревич будто бы заявил: «Если я еще раз замечу кого-нибудь из этих наблюдателей, то я ему морду разобью — знайте это». Если услышанное мною соответствует действительности, то будущее многообещающе! Впрочем, некоторые из молодых людей, близких к наследнику, считают, что он представляет собой подрастающего

Павла I.

8 апреля 1894 г. Относительно нашего великого князя наследника-цесаревича ничего не сообщают. Однако все шире распространяется слух, что у него произошло очень откровенное объяснение с их величествами, и они в конце концов сумели побудить наследника ехать в Кобург. Сегодня говорят, что балерина Кшесинская только что получила 100 000 рублей в качестве окончательного расчета за отношения с августейшим любовником. Ну и ну!

(Утром 8 апреля состоялась помолвка великого князя наследника-цесаревича и принцессой Алисой Гессенской.)

11 апреля 1894 г. Государь и государыня, видимо, раскрыли лишь совсем недавно связь их августейшего сына с балериной Кшесинской, а его затянувшееся холостячество уже начинало их беспокоить.

Фижмы
(Из воспоминаний князя С. М. Волконского) [6]

— Ах да, Волконский, я хотел вам сказать… я знаю, что «Фиамметта» требует много репетиций, теперь масленица, они устали — дайте лучше в пятницу «Маркитантку».

— Слушаюсь, ваше величество.

Это было в царской ложе Мариинского театра во время антракта. Только за три дня перед тем, в той же ложе, пробегая репертуар, государь мне сказал, что он так рад в будущую пятницу увидеть балет «Фиамметта», которого никогда еще не видел. Почему же вдруг отмена? Я, конечно, мог ответить, что артисты вовсе не устали, что одноактный балет не требует репетиций, что все рады показать государю что-нибудь такое, чего он еще не видал… Но я знал, что мои слова будут ни к чему. Я слишком хорошо чувствовал, что то, на что он ссылался — усталость артистов, праздники и пр., — это не причина, а лишь предлог.

Есть ли на свете что-нибудь более трудное, как опровергать предлог? Опровергните — сейчас явится другой. Uno avulso, non deficit alter. Мне всегда казалось, что предлог — злейший враг логики. Ведь предлог — это то, что нарушает самую нерушимую связь явлений: причинность; это есть подмена естественного рождения каким-то насильственным подбором. А тот случай, о котором я рассказываю, представляет собой некоторую разновидность. Дело в том, что государь верил в то, что говорил; он действительно думал, что артисты устали и пр. Для него это был не предлог, это была причина. Но в таком случае, в чем же дело? Откуда было у меня такое ощущение бесполезности всяких доводов, и почему, несмотря на искренность государя, я испытывал ту неловкость, которую испытываю всегда, когда вместо причины стою перед предлогом? Очевидно, что-то произошло в промежутке тех трех дней. Произошло вот что.

Матильда Кшесинская в составе труппы Красносельского театра

Когда из царской ложи я вышел на сцену, подозвал режиссера и сказал, чтобы он подчистил «Фиамметгу», так как государь собирается ее посмотреть, оказывается, — я этого тогда и не заметил, — в двух шагах от меня стояла Кшесинская. «Фиамметгу» танцевала балерина Трефилова, которую Кшесинская терпеть не могла; услыхав мои слова, — это мне передали впоследствии, — она сказала: «Ах вот как! «Фиамметта» не пойдет». И «Фиамметта» не пошла. Вот, значит, где произошла подмена причины предлогом.

Кшесинская достигала всего, что хотела. Через великого князя Сергея Михайловича, с которым она жила, она восходила к государю, который в память своих когда-то близких к ней отношений разрешал все ее просьбы. Она при этом умела так обставить свою просьбу, что выходило, как будто ее обижают. Во всяком случае, государю казалось, что она является страдалицей за прежнее его к ней благоволение. Поэтому он думал, что, разрешая ее просьбы, он тем самым восстановляет справедливость, избавляет ее от несправедливого преследования. В данном случае, очевидно, и просьбы не было, или, вернее, личной просьбе была придана видимость заступничества за других. Государю предоставляется случай выказать свое внимание к артистам, измученным двойными спектаклями на масленой неделе. И он выказал внимание, он сказал: «Поставьте лучше «Маркитантку»».

Не в первый раз государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта. Что, например, было непригляднее скрытой стороны этого факта? Именем царя совершается возмутительная несправедливость. А вместе с тем, что было проще и яснее видимой стороны этого происшествия? Государь «входит в положение» бедных артистов. И вот почему в этом случае, как и всегда в других подобных случаях, я мог ответить только и ответил: «Слушаюсь, ваше величество».

Нелегко было быть орудием несправедливости. Я уже не говорю о том, что всякий такой случай, становясь предметом всеобщего обсуждения за кулисами, возбуждал волнения, разжигал страсти и, конечно, не способствовал ни укреплению дисциплины, ни утверждению авторитета директора. И, однако, выйти в отставку я не мог — «видимость» не дала к тому уважительного основания. Был, правда, один случай, но он произошел при самом начале моей службы и при таких обстоятельствах, что я должен был примириться с фактом.

Вот как это было.

Мой предшественник по управлению театрами, Иван Александрович Всеволожский, заключил контракт с дрезденской балериной Гримальди. Этот контракт я унаследовал; с ее дебютов начинался балетный сезон 1899 года. Она дебютировала в «Жизели» с большим успехом. Следующий балет по контракту — «Тщетная предосторожность»; начались репетиции. В одно прекрасное утро на приемном дне является ко мне Кшесинская, заявляет свои права на исключительное исполнение «Тщетной предосторожности» и просит не отдавать другой то, что она называла «мой балет». Я отказал, ссылаясь на контрактное обязательство и указывая на то, что ни в опере, ни в драме не существует монополии ролей, что нет основания вводить этот обычай в балетную труппу: и в самом деле, разнообразие для публики, для балерин — соревнование. Она вышла недовольная. На другой день ко мне звонок; у телефона великий князь Сергей Михайлович; спрашивает, когда я могу заехать к нему. Условились — на следующий день. Приезжаю. «Я хотел с вами поговорить насчет Матильды Феликсовны, насчет «Тщетной предосторожности»».

Начинается все то же самое, и с моей стороны те же ответы — сказка про белого бычка. Я указывал, кроме того, на дисциплину, чувство служебного долга. Он все это отмахивал и настаивал все на одном: «Отнеситесь к вопросу не с служебной сухостью, а с человечностью, с сердечностью». Видя, что из этого разговора на балетные темы ничего не вытанцуется, я сказал, что подумаю и напишу ему, вперед решив, что ответ мой будет отрицательный.

На другой день был мой доклад у министра двора, барона Фредерикса. Через день он уезжал с государем в Дармштадт, и я предупредил, что в его отсутствие у меня будет столкновение с моим августейшим тезкой, и что, может быть, и до него дойдут о том отголоски. Прощаясь со мной, он сказал: «Будьте тверды». «Я буду», — сказал я. «Будете ли вы?» — подумал я.

Надо сказать, что перед тем, как мне был предложен пост директора императорских театров, запросили моего близкого друга, князя Александра Андреевича Ливена, способен ли я буду противустоять вмешательству великих князей в театральные дела. Ливен поручился за мою самостоятельность в этом отношении. Но после первых же докладов у министра я понял, что он никогда не будет опорой. Ведь это же элементарная истина, что опираться можно только о то, что способно противустоять. Фредерикс, при рыцарски-благородных качествах своих, был характера рыхлого; я ясно ощущал, что его напутствие есть совет, но оно не может быть принято как обещание. Фредерикс, кроме того, был недалек; он был неподвижного ума. Доклады у него иногда бывали очень тяжелы — он с трудом улавливал суть дела; всякий доклад надо было подавать в самых коротких словах — его мышление сейчас же утомлялось, его не хватало ни на какое более длинное рассуждение. Самое благоприятное для меня это бывало, когда он чувствовал усталость, тогда он не спрашивал объяснений и прямо подписывал… Решив соблюсти свою «линию», я на другой день написал Сергею Михайловичу мой мотивированный отказ исполнить его желание. Получил в ответ письмо столь же недовольное, сколько нескладное, которое кончалось так: «А что Вы пишете, что отвечаете мне по зрелом размышлении, то и я обратился к Вам не без оного. Оскорбив Матильду Феликсовну, Вы обидели и меня». На этом кончилась первая глава происшествия. Репетиции «Тщетной предосторожности» продолжались.

Недели через две подает курьер телеграмму. Распечатываю — шифрованная. У меня в дирекции шифра не оказалось; отправляюсь к управляющему канцелярией министра Злобину, беру у него шифр, возвращаюсь домой, расшифровываю — из Дармштадта, от Фредерикса: «Передаю Вам приказание не

отдавать балета «Тщетная предосторожность» балерине Гримальди, оставив его за Кшесинской». Я сделал еще одну попытку, послал убедительную телеграмму, но получил в ответ: «Не могу изменить полученного Вами приказания». Что мне оставалось делать? Репетиции «Тщетной предосторожности» прекратились.

Повторяю, это было в самом начале моей службы. Подавать в отставку было бы смешно, тем более что приходилось бы ждать два месяца возвращения государя; было бы смешно оспаривать у самодержца право распределения ролей, которое принадлежало и мне, его подданному, и всякому режиссеру. Наконец, смешно было уходить по такому поводу, который по видимости своей имел бы характер личной обиды. Но я написал тогда письмо барону Фредериксу, в котором изложил мой взгляд на все это и между прочим сказал, что подобные распоряжения ложатся тенью на доброе имя государя. Действительно, вся мелкая петербургская «публика», вся провинция были уверены, что государь продолжает сожительствовать с Кшесинской. И как было не думать, когда всякая ее просьба исполнялась? В глазах всех Кшесинская была «самодержавный каприз». И всякое административное распоряжение утверждением своим только подтверждало предположения общественного мнения. Великий грех в этом отношении на душе покойного Сергея Михайловича, грех способствования тому, что в конце концов мы должны назвать оскорблением величества. В таком смысле написал я министру двора. В отставку, как сказал уже, не подал, а решил ждать, как пойдет дальше…

«Наследник и В.А. (великий князь Владимир Александрович — Авт.) смотрели на меня в бинокль. Итак, первый спектакль был для меня удачен: я имела успех и видела Наследника. Но это только для первого раза достаточно, затем, я знаю хорошо, что мне этого будет мало, я захочу более, такой у меня характер. Я боюсь себя».

(Матильда Кшесинская)

Но к тому времени, с которого начался наш рассказ, многое сгустилось, обозначилось настолько, что всякие личные чувства

отступали на задний план перед общей невозможностью вести дело на сколько-нибудь устойчивых основаниях дисциплины и справедливости. Кончался второй сезон моего директорства, и я на каждом шагу натыкался на невозможность поступать по совести. Или, наученный опытом, я должен был сам воздерживаться от некоторых распоряжений, или я должен был идти на новые столкновения, новые отмены моих распоряжений и новые за кулисами шушукания, волнения, слезы, истерики. Да, не знает публика, сколько горечи за балетной улыбкой, сколько тяжести за легкостью балетных «тюников»… Я ждал случая уйти.

В тот год пасхальный сезон был короток, но представлял интерес: Кшесинская должна была выступить в балете «Камарго», который перед тем танцевала в свой прощальный бенефис итальянская балерина Леньяни. Кстати, и тут мне припоминается история. Леньяни для своего бенефиса выбрала было старый, давно не шедший балет «Баядерка». Через две недели приходит Кшесинская и заявляет, что после долгих исканий она наконец нашла себе подходящий балет, она выбрала «Баядерку». Ну, начинается новая волна, подумал я. Посылаю за Леньяни, говорю ей откровенно, как обстоит дело, предлагаю вместо «Баядерки» «Камарго» — балет красивый, в костюмах Людовика XV; она согласилась скорее и легче, чем я ожидал. В особенности пленило ее, когда я сказал ей, что для русской пляски (в каждом старом балете, где бы и когда бы действие ни происходило, всегда был вставной номер русской пляски) я ей сделаю точный снимок с известного портрета Екатерины Великой в русском костюме на балу, данном в честь императора Иосифа II. Несмотря на то, что она так легко согласилась, она все же затаила злобу против меня, и я знаю, что по возвращении в Италию она говорила, что никогда не вернется в Россию, пока в театре будут два человека: Кшесинская и князь Волконский. Она была уверена, что я подслуживаюсь…

Вот эту самую «Камарго», которую на масленице танцевала Леньяни, должна была после Пасхи танцевать Кшесинская. И этому самому костюму Екатерины Великой суждено было оказать мне услугу, за которую я ему был благодарен в течение многих лет. Я сказал уже, что ждал случая уйти. Долго такого не представлялось. Наконец представился.

Вы с трудом поверите, что могло стать причиной ухода директора императорских театров. Вы с трудом поверите, что причиной были фижмы. Впрочем, вы, может быть, не знаете, что такое фижмы? Фижмы — это из проволоки сплетенные корзины, которые надеваются на бедра под юбки, для того чтобы юбки стояли пышнее. В XVIII столетии иначе как в фижмах не

танцевали; в фижмах поэтому был задуман мною и русский костюм балерины по портрету Екатерины Великой: это был русский танец, стилизованный во вкусе Людовика XV. Недели за две до представления доходит до меня слух, что Кшесинская не хочет надевать фижмы. Чем ближе к дню представления, тем слухи упорнее. В то время вопросы балетные сильно занимали общество; они были способны даже волновать его. Всякая мелочь закулисная становилась достоянием городских разговоров, и, как по электрическим проводам, волнения передавались — в гостиные, в редакции, в рестораны. Вопрос о фижмах принял размеры чего-то большого, важного. Уже говорили, что Кшесинская объявила, что ни за что их не наденет. Настал и день представления. Театр битком набит, и добрая половина присутствующих, конечно, занята мыслью: «Ну как? В фижмах или без фижм?». В антракте, перед вторым действием приходит ко мне в директорскую ложу заведующий монтировочной частью барон Кусов с известием, что Кшесинская прогнала костюмершу, принесшую фижмы в ее уборную: «Вон, вон эту гадость! Не надену! Пусть меня штрафуют, пусть что хотят делают, а фижмы не надену!». Занавес взвился, под звуки русской пляски Кшесинская выплыла — без фижм. На другой день в журнале распоряжений по дирекции: «Директор императорских театров постановил: на балерину Кшесинскую, за самовольное изменение в балете «Камарго» установленного костюма, наложить штраф в размере…» (уж не помню, какая тут часть содержания полагалась по уставу.)

Через два дня будят меня в восемь часов утра: министр просит сейчас же приехать к нему. Одеваюсь, еду на Почтамтскую, вхожу.

— Вот, у меня очень неприятное к вам поручение. Государь желает, чтобы штраф с Кшесинской был сложен.

— Хорошо, — говорю, — но вы знаете, что после этого мне остается делать.

— Ну да, я знаю; вы молоды, вы слишком к сердцу принимаете. Об этом мы после поговорим. А сейчас, значит, я вам передал желание государя. Я через полчаса еду в Царское; я могу, значит, доложить, что приказание государя исполнено.

— Разумеется.

— А затем я вернусь и передам вам результат моего разговора. Заезжайте ко мне часов в пять. Да, я забыл вам сказать: государь желает, чтобы штраф был сложен в том же порядке, в каком был наложен.

Я вернулся в дирекцию, попросил к себе чиновника Ивана Сергеевича Руссецкого, заведовавшего печатанием журнала

распоряжений, и передал ему для напечатания на следующий день распоряжение, что наложенный по приказанию директора императорских театров на балерину Кшесинскую за то-то и то-то штраф по приказанию директора императорских театров слагается. Затем, оставшись один, написал прошение об отставке и положил его себе в карман.

В пять часов я был в приемной министра, в дверях кабинета сталкиваюсь с правителем канцелярии, Александром Александровичем Мосоловым; он крепко пожал мне руку и, проходя, сказал: «Я очень рад за вас». Я вошел в кабинет.

— Вы исполнили все, как было нами условлено?

— В точности…

— Ну и прекрасно…

— А вот моя отставка.

— Да оставьте, это совсем не нужно, вы сейчас в этом убедитесь.

— Нет, я вас очень прошу принять от меня бумагу.

— Ну хорошо, я ее возьму и спрячу к себе в стол.

К большой моей радости, отворился ящик письменного стола и поглотил мою бумагу. Но то, что для меня казалось самым важным, то для Фредерикса, по-видимому, было пустяком, а важным было то, к чему он приступил.

— Я говорил с государем по поводу всего этого дела, и я сказал ему, что, собственно, он слышит всегда лишь одну сторону, что ему непременно следует выслушать и вас. Он с этим согласился. Таким образом, я вам выхлопотал то, чего не имел еще ни один директор, — личный доклад. Государь вас примет в понедельник.

Я поблагодарил и вернулся домой в довольно смутном настроении. Предстояло нечто серьезное. Я чувствовал на себе большую ответственность и испытывал потребность проверить себя: верно ли я думал, имел ли основание сказать государю то, что я думал. Я решился поведать свои намерения и свои сомнения великому князю Владимиру Александровичу. И он, и великая княгиня Мария Павловна всегда оказывали мне самое сердечное внимание; во время моего директорства у меня не раз бывали неприятности — в них я всегда находил одинаковую ровность отношения. Я позвонил состоявшему при великой княгине Александру Севастьяновичу Эттеру, прося его доложить, что хотел бы поговорить с великим князем по важному делу до понедельника. Меня пригласили завтракать в воскресенье. Перед завтраком имел длинную беседу с великим князем, а после завтрака беседа продолжалась у великой княгини втроем. Я изложил дело, положение вещей, которого оно являлось

последствием, и, наконец, план того, что я намеревался сказать на другой день в Царском Селе. Впрочем, много и говорить не приходилось: они так хорошо знали и обстоятельства, и характер своего царственного племянника. Мне было высказано полное одобрение; я чувствовал какую-то в них радость, даже, боюсь сказать, — благодарность за мое намерение. То же самое я почувствовал накануне вечером, когда в Михайловском театре говорил с великим князем Алексеем Александровичем. Я положительно чувствовал за спиной руки обоих великих князей, которые толкали меня в кабинет государя. Тем временем воскресный вечер я провел в своем кабинете, шагая из угла в угол и зудя свою завтрашнюю речь, как актер зубрит монолог: я хотел закалить себя против возможных случайностей, возможной забывчивости, возможного волнения…

Великий князь Владимир Александрович и Великая княгиня Мария Павловна с детьми. 1900-е гг.

В восемь часов утра я был на Царскосельском вокзале. Обычная картина нарядной суеты: мундиры, треуголки, белые перчатки, портфели, курьеры; одни люди спешащие, другие люди — вытягивающиеся в струнку, третьи — спокойно шествующие, отвечающие на поклоны. Нарядный, лоснящийся вагон. Поезд мягко трогается, перед окнами вагона проходят стоящие на месте, вытянутые в струнку курьеры, жандармы, железнодорожные

служители: в поезде едет великий князь Алексей Александрович. Через мгновенье вся эта официальная нарядность охвачена природой; поезд выкатил в поля: мундиры, портфели, белые перчатки — на фоне зеленых лугов.

Здесь, в поезде, узнал я, не помню от кого, что накануне был дежурным адъютантом великий князь Сергей Михайлович. Это не была его очередь, но великие князья имели право поменяться очередью, когда имели дело до государя, и Сергей Михайлович этим правом воспользовался накануне моей аудиенции.

По понедельникам в Царском Селе в девять часов утра бывал доклад генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. После него принимались находящиеся в Петербурге губернаторы. Мне было назначено после губернаторов. Прием несколько запоздал, так как раньше губернаторов во дворе дворца был смотр каким-то автомобилям: свисту, шуму и пыхтенью не было конца. Наконец наступил черед губернаторам; их было немного — три-четыре; вышел последний — пришел и мне черед. Когда я вошел в кабинет государя, я сразу почувствовал, что все, что я скажу, будет ни к чему.

Николая II я знал довольно хорошо. То есть не хочу этим сказать, что был с ним близко знаком, но я имел возможность за два года своего директорства изучить его характер. Одна из причин, почему директор императорских театров возбуждал такую зависть, — это привилегия, которою он пользовался, когда государь бывал в театре: входить в царскую ложу во время антрактов. В то время как министры имели дни доклада, в то время как высшие сановники видали государя раз-два в неделю, директор театров видал его по нескольку раз в вечер, а на масленице, например, когда были денные спектакли, то два раза в день по три-четыре раза. Никто, как директор театров, не имел возможности «поболтать» с государем. Николай II любил театр, часто ездил и часто в антрактах задерживал меня в ложе — настолько, что иногда приходилось напоминать: «Однако, ваше величество, не думаете ли, что пора занавес поднимать?». Но я должен сказать, что это бывало только когда он был один, без императрицы. Александра Феодоровна действовала, по-видимому, сдерживающим образом на супруга. Она была холодна, невозмутима. Ее входы и выходы — это была пантомима. Никогда ни отзыва, ни суждения, ни вопроса. За два года я один раз только слышал ее голос — когда зашел разговор о юбках наших балерин; она нашла, и совершенно справедливо, что они слишком коротки… Да, только когда он бывал один, только тогда бывал он разговорчив.

Удивительную черту я подметил в нем: чем дальше разговор

уходил от вверенного мне дела, тем проще и непринужденнее он был, чем ближе к делу, тем недоверчивее он становился. Можно было подумать, что все интересует его больше, нежели деловая сторона того, что он поручил человеку. Я не преувеличу, сказав, что прикосновение к делу вызывало в нем прямо какую-то враждебность. Зато на почве безразличного разговора он мог быть обворожителен; внешняя доверчивость могла принимать формы прямо детской простоты. Помню, однажды, просматривая репертуар, он спросил: «А что, французская пьеса в субботу какова?». Я сказал, что очень смешная, но и очень — того… Он прищурился, подмигнул и с лукавством школьника шепнул: «Ну ничего, я один приеду…».

Он мог быть обворожителен. Я знал людей, выходивших из его кабинета на седьмом небе; каждому казалось, что из всех ста восьмидесяти миллионов подданных он самый любимый. Это бывало с теми, которых он мало знал, которых встречал редко, главное, с такими, с которыми не приходил в деловое соприкосновение. При этом естественно, что низшие пользовались большим благоволением, чем высшие; благоволение царское было обратно пропорционально служебной ответственности должностного лица. Обратно пропорциональна была и длительность этого благоволения: низшие служащие доживали до пенсий, становились необходимой принадлежностью каждодневной обстановки, в то время как на верхах шло то, что Пуришкевич назвал чехардой. Никакой реальности не было в его благоволении, оно испарялось как дым и даже тем легче, чем при начале казалось горячее. Страшное, жуткое слово пустил в ход Куропаткин; он называл это «медовый месяц доверия».

Император Николай II не только умел, он любил быть обворожительным, он не любил быть неприятным: когда только можно было, он поручал неприятную обязанность другому; не могу себе вообразить его делающим личный выговор. Когда обстоятельства требовали неприятного от него лично, он это неприятное откладывал до самой последней минуты и здесь, как часто бывает с характерами слабыми, в одну секунду совершал такую операцию, которая от более сильного человека потребовала бы часового разговора. Так, когда Витте, министр финансов, однажды уходил с доклада, государь дал ему дойти до дверей и вдруг сказал: «Ах да, Сергей Юльевич, я назначил министром финансов Плеске». А случай с Самариным, прокурором Св. Синода, который сейчас, когда пишу эти строки, томится в темнице уже который месяц? Он был приглашен в Царское к завтраку, с ним были любезны, ласковы до последних пределов, его водили к постели больного маленького наследника… Из

Царского он поехал в какое-то заседание, там получил уведомление о своей отставке… Из заседания поехал домой — нашел на столе портрет государя с собственноручной надписью. Часто приходилось слышать сравнение Николая II с Александром I; и в самом деле, разве это не напоминает случай со Сперанским, который, выходя из кабинета Александра, крестился благополучному исходу, а приехав домой, нашел приказ о своей отставке и ссылке…

Понятно, что при этом не могло быть столкновений; не может быть столкновений с тем, что уклоняется, убегает. И столкновений не бывало: неприятное замалчивалось, виновник неприятного обстоятельства удалялся. Тут проявлялась и еще одна черта характера — страшное, трагическое безразличие. Легкость, с которою он уступал, легкость, с которою он соглашался, отказывался, ставила людей перед каким-то пустым местом. Не помню, по какому делу, было соревнование между Витте и Куропаткиным. Государь согласился с мнением одного, потом другого; на втором докладе Витте опять взял верх; наконец Куропаткину удалось добиться под подписью добавочной резолюции: «Это мое последнее непреклонное желание». По поводу учреждения папской нунциатуры в России имеется три Высочайших резолюции: «Нахожу желательным», «Нахожу преждевременным», «Нахожу нежелательным». Совершенно непонятно, как такой характер, казалось, созданный для того, чтобы быть конституционным монархом, мог с такой цепкостью держаться за самодержавие. В этом случае он, конечно, шел против собственной природы; и, может быть, в этом единственная трагическая нота этого человека с такой трагической судьбой и без всякого трагизма в своей личности…

Этим безразличием объяснялась и та легкость, с которой он выслушивал, вернее — то спокойствие. Ему можно было все говорить; он на все отвечал: «Конечно, конечно». По бегающим глазам и по руке, теребящей ус, только и можно было заключить, что то, что он слышит, ему не нравится, но он не прерывал, иногда даже подбадривал говорящего своим поощрительным «конечно».

Когда я вошел в кабинет государя, я почувствовал, что все, что я скажу, будет совершенно не нужно. Но вместе с тем я был вызван для того, чтобы говорить, — как же я мог не сказать? И наконец, кто же бы поверил, если бы я не высказал всего, кто бы поверил, что я смолчал из сознания бесполезности моих слов, а не из робости? Я сказал все, весь мой монолог. Я обрисовал те невозможные условия ведения дела, которые создаются вмешательством в мои распоряжения благодаря

исключительности, в которую ставится одна артистка перед другими, я описал закулисные настроения и нравственные условия работы, ими создаваемые. Я говорил долго, минут десять, я думаю. Мы стояли между окнами; направо от меня, в простенке, стоял шкафчик, на нем часы; на эти часы бегающие глаза часто засматривались, пока пальцы теребили ус: было тридцать пять минут первого, приближалось время завтрака. Я говорил, и все больше и больше раскрывалось передо мной пустое место. Ни одного замечания, ни одного вопроса. Один только раз он сделал вставку. Я говорил о том, что когда приезжала из Москвы балерина Рославлева танцевать «Корсара», в котором есть вставной номер, то Кшесинская заявила права на музыку этого вставного номера; балетный дирижер Дриго и его помощники целую ночь в библиотеке подыскивали для этого па другую музыку. Вот, говорил я, к каким осложнениям ведет система балетной монополии. Здесь он сказал свое единственное слово; когда я упомянул о вставном номере в «Корсаре», он спросил:«Музыка Делиба?»…

Матильда Кшесинская с Ольгой Преображенской. Петербург. 1889 г.

Я уже давно чувствовал, что моя отставка в принципе принята. Я кончил свой монолог просьбой освободить меня от моей должности. Неприятная сторона разговора была кончена; напряжение с обеих сторон сразу ослабело.

— Да, но как же… Вас очень трудно заменить…

— Я готов ждать, ваше величество, сколько прикажете. Далека от меня мысль вызывать затруднения. Только прошу принять во внимание, что сезон театральный приготовляется с лета, и что, следовательно, чем раньше состоится новое назначение, тем для дела выгоднее и для моего заместителя легче.

— Ну, я вас прошу, подождите… до июня.

И мне тоже хотелось завтракать. В одной из комнат дворца нас ожидал «гофмаршальский стол»…

Царскосельский парк сиял в блеске чудного апрельского дня, когда мы с одним из губернаторов (не помню ни фамилии, ни губернии) в придворной коляске ехали из дворца на вокзал…

В Петербурге, едучи по Вознесенскому проспекту, я заметил впереди себя пролетку великого князя Алексея Александровича; я сказал своему кучеру, чтобы он не наезжал и не обгонял. Через минуту кучер оборачивается и говорит мне: «Просят поравняться». «Ну что же, подъезжай». Мы поравнялись. Великий князь спрашивает:

— Ну что?

Развожу руками и пожимаю плечами.

— Но вы говорили?

— Да.

— Вы все сказали?

— Все.

— Хорошо.

— Слишком много.

— Тем лучше!

И, обращаясь к своему кучеру: «Пошел». Пролетка великого князя укатила…

Я поехал к Фредериксу рассказать о моей аудиенции. Министр остался недоволен тою неопределенностью, которой был отмечен конец царскосельского моего разговора. Он был искренно уверен, что ему удалось все уладить, а тут вдруг опять все расстраивалось… Наступило для меня длинное, скучное ожидание; в мае я переехал на житье к моему дяде князю Белосельскому-Белозерскому на его чудную дачу на Крестовском острове. Прошел май месяц, наступил и июнь, мое дело как будто не двигалось. Отец мой имел случай в это время представиться государю — он подносил ему только что напечатанные «Записки» моего деда декабриста. Государь спросил:

— А что, ваш сын успокоился?

— Успокоился, ваше величество, совсем успокоился с тех пор, как вы обещали отпустить его.

Очень я в то время был благодарен моему отцу за находчивость и определенность его ответа. Но мне хотелось двинуть дело, и я просил моего дядю Белосельского поговорить с Фредериксом. Оказывается, Фредерикс был растерян: «Я сделал все, что от меня зависело; мне казалось, что государь со мной согласился… Что там произошло, не понимаю; сам ли Волконский себе повредил, или Сергей Михайлович перебежал ему дорогу… Но государь теперь уже смотрит на отставку Волконского как на дело решенное». Наконец я получил уведомление о назначении меня гофмейстером; тем самым я уже

не был директором. На мое место был назначен Владимир Аркадьевич Теляковский, при мне заведовавший императорскими театрами в Москве. Мне оставалось откланяться государю.

Двор уже переехал в Петергоф; я был принят в том прелестном маленьком домике на самом берегу моря, в котором государь проводил жаркие месяцы. В это утро представлялась депутация одного из прусских полков; Вильгельм прислал показать Николаю II новую изобретенную им походную форму: оказывается, это стародавний обычай, установившийся между домами Гогенцоллернов и Романовых, — обмениваться новинками в области обмундирования. Депутация состояла из генерала, офицера и рядового, одетого в походную форму защитного цвета. Этот рядовой и был то, что Вильгельм прислал на показ; в приемной государя его осматривали со всех сторон: возбуждали интерес его парусиновый шлем и в особенности ранец, очень сложного устройства, с массою отделений для чая, для мыла, для хлеба, для табаку… Я прошел в комнату, предшествующую кабинету, ту самую комнату, в которой два года тому назад ждал аудиенции по случаю назначения директором. Тогда был дежурным флигель-адъютантом великий князь Михаил Александрович, теперь дежурил Долгорукий. Все покойники… Кроме меня, никого не было. Из кабинета вышел, если память мне не изменяет, Алексей Сергеевич Ермолов. Я вошел.

Государь был как будто несколько смущен; встретил меня торопливо и торопливо же заговорил — как бы вы думали, о чем? Об интересной новой немецкой походной форме. Нельзя же было на этом оставаться; я чувствовал, что надо помочь, и, улучив минуту, высказал свою признательность за то, что просьба моя об увольнении уважена; я заверил, что все приготовления к будущему сезону в ходу. Получил в ответ в свою очередь благодарность за понесенные труды — и вдруг вопрос: «Ну а Теляковский, как вы думаете, будет хорош?». Это обращение к предшественнику с вопросом относительно его заместителя до такой степени поразило меня своей неожиданностью, своею необычностью, что вызвало невольное замедление ответа; я поспешил загладить это впечатление отзывом самой горячей симпатии к моему бывшему сослуживцу. Государь прослушал и сказал: «Немножко молод…» — «Он моих лет, ваше величество, а вступает двумя годами после меня; кроме того, у него уже семилетняя практика в Москве». Когда я произнес первые свои слова, он поднял растопыренные пальцы к глазам, как делает человек, который говорит: «Вот сморозил!..». Всякое смущение пропало, наступило благодушие. Он заговорил о «Записках» моего деда, которые поднес ему отец. «Так интересно. Но какая

досада, император Николай I сказал: «Я» — и потом вдруг…» — и он ударил кулаком правой о ладонь левой руки. Известно, что записки моего деда декабриста прерываются на слове «Я» императора Николая I. «Ну, желаю вам отдохнуть; еще раз благодарю за вашу службу»… Я раскланялся. Когда, выходя, я запирал дверь, я чувствовал, что оставляю за собой легкое настроение, как после вырванного зуба…

Дивный парк сиял в нарядном блеске июльского дня, была, как говорил Николай I, «погода лейб-гвардии петергофская», когда я в придворной коляске ехал из маленького дворца государя в Александрию, где жила императрица Мария Феодоровна. Я уже слышал, что она была очень недовольна всей этой историей, то есть тем, как она разыгралась; слышал, что она очень горячо попрекала Фредерикса за то, что тот меня отпустил… Она приняла меня с трогательной задушевностью: «Я ждала вас с волнением». Она ясно понимала и глубоко чувствовала смысл того, что произошло. Мне было тяжело думать, что мое поведение должно было больно затронуть ее материнское чувство, но она сказала: «Вы поступили благородно». Я ясно ощущал, что для нее случай с директором театров не был чем-то единичным, что он не раскрывал в ее сердце что-то новое, а что он отвечал старой наболевшей ране. Она хорошо сознавала, что так дальше нельзя. Но что могла она, милая, добрая, лишенная влияния…

Так кончается моя история. Я озаглавил ее — «Фижмы». Фижмы — это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид; нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может. Она кругом оплетена сетью мелочей, и слишком много нужно внутренней силы и устойчивого сознания законности, чтобы сквозь эту сеть могла пробиться жизненная ценность. Они цепки, эти мелочи, живучи, как сама жизнь; в них есть что-то неотторжимое, и только когда падает дерево, с ним вместе падают и присосавшиеся к нему лианы. Но дерево гибнет, лианы остаются; остаются и переползают на другие дерева…

«Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости».

(Николай II о Матильде Кшесинской)

Две примы-балерины… (Из воспоминаний Т. П. Карсавиной) [7]

В училище было полно таких показных романов, и вскоре я усвоила установленный традицией хороший тон. Мои вновь приобретенные манеры совершенно не нравились матери. Она терпеть не могла жеманности, что же касается брата, он высмеивал меня остроумно и безжалостно.

«Кого вы обожаете?» — часто спрашивали меня старшие воспитанницы. Все мы должны были кого-то обожать. Две примы-балерины, Матильда Кшесинская и Ольга Преображенская, были кумирами нашего училища и разделили его на два лагеря. Преподаватели тоже иногда попадали в число достойных обожания. К сожалению, только двое из них были молоды и красивы, один из них — учитель фехтования. Остальных же, казалось, нашли в паноптикуме. Мой выбор пал на Павла Гердта. Ему было уже за сорок, но он по-прежнему оставался на ролях «первых любовников», его внешность не выдавала возраста. Я могла вполне искренне говорить о своем обожании его, так как всегда искренне восхищалась его внешностью и манерами, правда, прежде мне не приходило в голову, что я его обожаю. Он был моим крестным отцом и иногда приходил к нам в гости, всегда принося мне большую коробку шоколадных конфет. В тот период он танцевал мало из-за постоянной боли в колене, но все же играл главные роли и поддерживал балерину. Красивый и статный, он выглядел очень молодо на сцене и был первоклассным актером. В училище он преподавал пантомиму, но его уроки посещали только ученики старших классов. (…)

Вскоре будущее снова улыбнулось мне, и на мою долю выпала огромная удача — готовился гала-спектакль в честь предполагаемого визита президента Французской Республики Лубе. Для участия в представлении пригласили лучших артистов. Из Москвы должна была приехать Гельцер, предполагалось, что она разделит успех с Матильдой Кшесинской. Но то ли Гельцер действительно заболела, то ли решила уклониться от участия в спектакле, в котором главную роль отдали другой танцовщице, — я точно не знаю, но в театр она не явилась. Теляковский, не придававший никакого значения закулисной иерархии, отдал распоряжение, чтобы ее роль исполнила я; такого еще не бывало, чтобы ученица выступала с выдающимися танцовщицами. (…)

Карсавина Т. П. Романтика и волшебство танца // Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи.

(…) «Баядерка» относилась, вместе с несколькими другими балетами, к разряду так называемых «священных». Лишь настоящие балерины допускались к исполнению заглавной роли.

Я имела случай видеть в ней двух великих танцовщиц: ученицей — Матильду Кшесинскую, а позднее, когда я уже стала солисткой, — Анну Павлову. Обе они были несравненны и вместе с тем несравнимы друг с другом, настолько разнились они по своему дарованию. В то время как сила Кшесинской заключалась в драматичности исполнения сцены, где она гибнет от руки соперницы, Павлова в акте теней поражала своей воздушностью — плоти в ней казалось не более, чем в снежинке.

Один этот акт, акт теней (с моей точки зрения, лучший во всем балете), был недавно возобновлен в Ковент-Гардене. Все было так, как я помнила. Тени, спускавшиеся со склонов Гималаев, строились в строгие линии, выполнявшие, несмотря на свою простоту, весьма важную функцию в рисунке романтического балета. Кордебалет, согласно концепции романтического балета, должен был оставаться безликой массой, не привлекавшей внимания зрителя какой-либо индивидуальностью. Если взять сравнение из области живописи, соотношение здесь примерно такое же, как главных действующих лиц и фона в картинах Клода Лорена или Пуссена.

Чары романтики, одухотворившие эту постановку, не опирались на одну только хореографию. Наряду с непреходящими ценностями, в ней встречаются куски, которые кажутся нам сейчас обусловленными чисто техническими потребностями.

Чтобы романтический сюжет приобрел некоторое правдоподобие, фантастический элемент нуждался в некоторых вспомогательных средствах. Так, в оригинальной постановке «Баядерки» несколько слоев тюля у самого просцениума таинственно скрывали очертания спускавшихся фигур. Одна за другой поднимались тюлевые завесы, но свет на сцене оставался призрачным, как в синеве ночи. Помню также, что танцовщицы теснее стояли в рядах, чем это было показано сейчас в Ковент-Гардене. Поэтому зритель воспринимал не отдельные фигуры, а цепь теней, которую можно было бы уподобить медленно клубящемуся туману, причем этот эффект усугублялся длинными тюниками.

В 70-х годах прошлого века итальянские балерины уже ввели короткие тюники, но с длинными юбочками (два дюйма ниже

колена) в балете еще не расстались.

Короткие пачки кордебалета в Ковент-Гардене выгодно демонстрировали его высокую технику, но лишили всю картину ее сверхъестественного подтекста. Земными были полностью открытые, красивые ноги, когда, стоя в несколько линий, эти танцовщицы исполняли свои developpes и арабески. Мне казалось, что они сдают трудный экзамен, а не изображают бестелесные тени. С моей точки зрения, длина и объем юбок — не просто вопрос моды, а нечто логически вытекающее, и посему художественно обязательное для того или иного стиля танца.

Кое-какие детали, может быть, не так важны, но об отсутствии их я сожалела. Например, шарф в вариации балерины улетал в небо с последним, поднимавшимся ввысь арабеском. Мне кажется также, хотя я не берусь это утверждать, что в группировках кордебалета было больше разнообразия и выдумки. Мысленным взором я все еще ясно вижу горизонтальные линии танцовщиц, полулежащих в арабеске allongee a terre, в то время как мой партнер, высоко подняв меня в воздух, проносил между их рядами. Я должна была бы хорошо запомнить вечер в мае 1918 года, когда я танцевала «Баядерку», ибо это было мое последнее выступление на сцене Мариинского театра.

Глава 12

О, театр, двуликий Янус, твое суровое, нахмуренное лицо пока еще было скрыто от меня, хотя мудрые люди уже предупреждали о его существовании. Одна из танцовщиц, значительно старше меня по возрасту, известная своим благосостоянием и связями, воспылала ко мне симпатией. Надежда Алексеевна (Бакеркина Н. А. (1869–1940) — артистка балета московского Большого театра (1886–1896) и Мариинского театра (1896–1906)) никогда не стремилась к славе. Эту на редкость элегантную танцовщицу вполне удовлетворяло место в первой линии кордебалета.

— Не слишком обольщайся, театр — это рассадник интриг, — часто говорила она. — Как ты думаешь, почему она (Кшесинская. — Б.С.) подарила тебе этот костюм?

Костюм, о котором шла речь, я нашла восхитительным и подарок сочла более чем щедрым.

— Посмотри на себя в темно-лиловом! — продолжала она. — Этот цвет годится лишь для обивки гроба, а не для костюма молодой барышни. (…)

Балетоманы представляли собой публику просвещенную, взыскательную, хотя зачастую догматическую и консервативную, но в то же время способную на проявление величайшего энтузиазма и восторга. Консервативны они были до крайности. Любая попытка предпринять что-то новое, малейший отход от старых канонов казались им ересью; любое изменение какого-нибудь па воспринималось ими с разочарованием, как непочтительное отношение к балету. Они всегда с нетерпением ожидали исполнения некоторых любимых па. Даже со сцены чувствовалось, как весь зал затаив дыхание, замирал в предвкушении любимого фрагмента. Если фрагмент исполнялся хорошо, публика разражалась громом аплодисментов, хлопая в такт музыке. Репутации артистов создавались и рушились случайными репликами, небрежно брошенными завсегдатаями партера. Какая-нибудь иностранная знаменитость, выступив в нескольких спектаклях, могла проявить величайшую виртуозность, но если у нее были слегка сутулые плечи, незамедлительно следовала оценка. «Летающая индюшка», — с манерной медлительностью тянул Скальковский, и эта фраза тотчас же облетала всех зрителей и подхватывалась ими. А какими тиранами казались эти балетоманы, к тому же чудовищно упрямыми: если однажды они находили у танцовщицы какие-либо недостатки, то уж ничто не могло заставить их переменить

свое мнение. Они классифицировали танцовщиц, навешивая на них ярлыки: «грациозная», «драматическая», «лирическая» — и не поощряли попыток танцовщиц развить в себе иные качества, выходящие за пределы определенного для них амплуа. Преисполненные энтузиазма, они ни в коем случае не пропускали спектаклей. Когда Матильда Кшесинская уезжала на гастроли в Москву, первый ряд партера пустел — ее верные поклонники устремлялись за ней.

Тамара Платоновна Карсавина (1885–1978) — русская балерина. Солировала в Мариинском театре, входила в состав

Русского балета Дягилева и часто танцевала в паре с Вацлавом Нижинским. После революции жила и работала в Великобритании

Балетоманы задних рядов партера и галерки были не столь значительными, но едва ли менее влиятельными — они тоже могли «короновать» и «свергать с престола». Возможно, им не хватало эрудиции и знаний в области балетной терминологии, но что касается непосредственности и искренности в проявлении восторга, в этом они превосходили своих «коллег» из первых рядов партера. В то время как партер соблюдал определенный декорум, галерка не щадила голосовых связок. Даже после того, как пустели первые ряды партера и гасили люстры в зале, галерка еще долго неистовствовала. Уже опускали железный занавес, приносили чехлы, а галерка все продолжала кричать. И последний ритуал — ожидание танцовщиц у выхода. Проходившие там манифестации определялись популярностью артистки: от молчания до исступленных оваций. Порой группа молодых людей провожала своего кумира на некотором расстоянии, составляя молчаливый эскорт. У зрителей галерки, или райка, как мы его называли, преклонение перед артистами носило идеальный характер. Молодое поколение демонстрировало подчеркнутое пренебрежение к шикарной публике партера. Моя относительная замкнутость, которая, по мнению Надежды Алексеевны, могла лишить меня поддержки влиятельных людей, стала наилучшей рекомендацией для зрителей галерки. Про меня говорили, что я никогда не принимаю приглашений на ужин. Моя сдержанность окружалась ореолом, я стала любимицей галерки. Не стоит удивляться этому идеализму и восторженности — они исходили от молодежи: студентов, гимназистов, молодых людей со скромными средствами. Но среди них были и свои ветераны, даже один дедушка. Если вовремя бенефиса галерка подносила актеру адрес, то дедушка возглавлял депутацию райка. Он был чиновником какого-то министерства, маленький, застенчивый человечек, с бородкой, одетый в опрятный форменный сюртук.

На галерке лишь небольшое количество мест принадлежало абонентам, все остальные поступали в продажу. Касса открывалась в восемь утра. Даже в самые жестокие морозы очередь вокруг театра выстраивалась уже с ночи, хотя даже это десятичасовое дежурство отнюдь не гарантировало приобретения билета. Со временем балет стал доступным для более широких кругов публики, и на спектакли стали попадать не только абоненты. Старые балетоманы не одобряли подобное новшество; они ворчали, если им приходилось пропустить представление, но

никогда не опускались до того, чтобы посетить внеабонементный спектакль. Но в те времена о подобной мере никто и помыслить не мог: тогда китайская стена окружала мир балета — необычный мир со своей собственной культурой, узким кругом интересов, профессиональных сплетен, преднамеренным невежеством и нежеланием приобщиться к интеллектуальному прогрессу. И никто даже не пытался разрушить эту стену. (…)

Глава 13

В том же 1904 году Бакст создал декорации для «Эдипа» в Александрийском театре и для балета «Фея кукол». Я впервые встретила его на генеральной репетиции. Он выглядел как настоящий денди и был весьма привередливым. Бакст сразу же добился успеха, и все группировки шумно приветствовали его успех.

Последовательно придерживаясь своей политики, Теляковский прекратил приглашать иностранных балерин. Никто из наших танцовщиц не бывал еще за границей. Павлова выступала пока на нашей сцене. Балет того времени отличался редкостным изобилием талантов: восхитительная Трефилова; хрупкая изысканная Павлова, вернувшая наполовину забытое очарование «Жизели»; любимица публики, обладающая остроумием и законченным мастерством Преображенская; блистательная и дерзкая Матильда Кшесинская; Седова, способная в несколько прыжков пересечь всю сцену; красавица Мария Петипа; Егорова… Вокруг звезд собралась целая гирлянда начинающих танцовщиц — надежда театра. Наш кордебалет по праву был знаменит отточенностью мастерства и дисциплиной. И эти качества неизменно сохранялись. Время от времени в «Вестнике» появлялись подобные заметки: «Его превосходительство господин директор желает выразить свое неудовольствие кордебалету за то, что в последнем акте «Спящей красавицы» была нарушена линия…», «Строгий выговор за ношение драгоценностей с костюмами пейзанок актрисам…». Далее следовал список имен. Однажды и я испытала глубокое чувство унижения, когда прочла свое имя рядом с именем Лидии в списке оштрафованных — я перепутала дни недели и не явилась для участия в дивертисменте в опере, которая должна была состояться в пятницу, я же думала, что еще только четверг. Лидия, моя дублерша, настолько полагалась на мою надежность, что тоже не пришла в театр, хотя по инструкции все дублеры должны присутствовать на спектакле. На нас наложили штраф в размере месячного жалованья, который должен был удерживаться частями в течение года. Некоторое время вычеты производились, затем управляющий конторой пригласил меня к себе; поговорив на разные темы, он как бы между делом посоветовал мне подать прошение о снятии штрафа. И штраф не только был снят, но в конце сезона нам вернули удержанные деньги, «принимая во внимание усердие, проявленное при исполнении своих обязанностей». Но должна отметить, что подобная

снисходительность не была типичной, и штрафы не являлись шуткой — просто к нам с Лидией начальство относилось чрезвычайно доброжелательно и покровительственно. Я вспоминаю еще один случай со штрафом, имевший серьезные последствия. Он произошел во время директорства Волконского. Однажды Матильда Кшесинская надела на спектакль свой собственный костюм, проигнорировав распоряжение Волконского выйти на сцену в костюме, специально сшитом для роли. На следующий день она была оштрафована. Кшесинская рассердилась и стала добиваться отмены, и через несколько дней в «Вестнике» появился приказ министра двора об отмене штрафа. Князь Волконский тотчас же подал в отставку. Его заслуженно очень любили, и общество с негодованием восприняло неуважение, проявленное по отношению к одному из своих членов. В театре стали происходить враждебные манифестации, направленные против Кшесинской, — дорого она заплатила за свой кратковременный триумф. В ту пору она находилась на вершине своего таланта. По виртуозности она не уступала Леньяни, а по актерским качествам даже превосходила ее.

Матильда сама выбирала время для своих спектаклей и выступала только в разгар сезона, позволяя себе длительные перерывы, на время которых прекращала регулярные занятия, и безудержно предавалась развлечениям. Всегда веселая и смеющаяся, она обожала приемы и карты; бессонные ночи не отражались на ее внешности, не портили ее настроения. Она обладала удивительной жизнеспособностью и исключительной силой воли. В течение месяца, предшествующего ее появлению на сцене, Кшесинская все свое время отдавала работе — усиленно тренировалась часами, никуда не выезжала и никого не принимала, ложилась спать в десять вечера, каждое утро взвешивалась, всегда готовая ограничить себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой. Перед спектаклем она оставалась в постели двадцать четыре часа, лишь в полдень съедала легкий завтрак. В шесть часов она была уже в театре, чтобы иметь в своем распоряжении два часа для экзерсиса и грима. Как-то вечером я разминалась на сцене одновременно с Кшесинской и обратила внимание на то, как лихорадочно блестят ее глаза.

— О! Я просто целый день умираю от жажды, но не буду пить до выступления, — ответила на мой вопрос она.

Ее выдержка произвела на меня огромное впечатление. Я время от времени возвращалась с репетиций домой пешком, чтобы на сэкономленные деньги купить в антракте бутерброд. Отныне я решила отказаться от этой привычки.

Матильда Кшесинская (сидит 3-я слева) среди артистов Маринского театра. 1914 г.

В годы учения я восхищалась Матильдой и хранила, как сокровище, оброненную ею шпильку. Теперь я воспринимала каждое сказанное ею слово как закон.

С самого начала она проявляла ко мне большую доброту. Однажды осенью, в первый сезон моей работы в театре, она прислала мне приглашение провести выходные дни в ее загородном доме в Стрельне. «Не трудись брать с собой нарядные платья, — писала она, — у нас здесь по-деревенски. Я пришлю за тобой». Мысль о скромности моего гардероба сильно беспокоила меня. Матильда, по-видимому, догадалась об этом. Она подумала и о том, что я не знаю в лицо ее секретаря, поэтому приехала за мной на станцию сама. У нее гостила небольшая группа друзей. В роли хозяйки Матильда была на высоте. У нее был большой сад неподалеку от побережья. В загоне жило несколько коз, одна из них, любимица, выходившая на сцену в «Эсмеральде», ходила за Матильдой словно собачка. Весь день Матильда не отпускала меня от себя, оказывая бесчисленные знаки внимания. За обедом она заметила мое смущение — мне не хватило ловкости, чтобы разрезать бекаса в желе, и, забирая мою тарелку, сказала:

— Пустяки! У тебя будет достаточно времени, чтобы овладеть всеми этими премудростями.

У меня создалось впечатление, что все окружающие подпадали под обаяние ее жизнерадостной и добродушной натуры. Но даже я при всей своей наивности понимала, что окружавшие ее лизоблюды источали немало лести. И это вполне объяснимо, принимая во внимание то положение, которое занимала знаменитая танцовщица, богатая и влиятельная. Зависть и сплетни постоянно следовали за ней. Весь тот день меня не покидало чувство недоумения — неужели эта очаровательная женщина и есть та самая ужасная Кшесинская, которую называли бессовестной интриганкой, разрушающей карьеры соперниц? Ее человечность окончательно покорила меня — в ее доброте по отношению ко мне было нечто большее, чем просто внимание хозяйки к застенчивой девочке, впервые оказавшейся под крышей ее дома. Кто-то, поддразнивая ее на мой счет, бросил:

— Из вас получилась хорошая дуэнья, Малечка.

— Ну и что же, — ответила она. — Тата такая прелесть.

— Если кто-нибудь тебя обидит, приходи прямо ко мне. Я за тебя заступлюсь, — позже сказала она и впоследствии сдержала слово: ей представилась возможность вмешаться и вступиться за меня. Я стала получать значительно меньше ролей, выяснилось, что директору внушили, будто у меня слишком много работы. Одна знаменитая балерина, не принадлежавшая, по-видимому, к числу моих доброжелательниц, неожиданно проявила чрезмерную заботу о моем здоровье, попросив директора не перегружать меня, поскольку я больна чахоткой. Директор, введенный таким образом в заблуждение этой напускной заботой, проявляя истинное сочувствие, стал постепенно сокращать мой репертуар.

На следующее утро я вернулась домой, испытывая изумление перед открывшимся мне новым миром, исполненным блистательного веселья. Сад был освещен фонариками, дом весь звенел от музыки и смеха. С новым пылом спешила я на Театральную улицу, стараясь не опоздать на урок. В это яркое, веселое утро ранней осени я просто задыхалась от счастья.

Глава 14

Айседора сразу покорила весь театральный мир Петербурга. Конечно же, как всегда, нашлись консервативно настроенные балетоманы, для которых сама идея босоногой танцовщицы, казалось, оскорбляла основные принципы искусства, которые они почитали священными. Но подобное отношение отличалось от общего мнения, и желание обновления веяло в воздухе. Помню, что, впервые увидев ее танец, я полностью попала под ее обаяние. Мне никогда не приходило в голову, что между ее искусством и нашим существует какой-то антагонизм. Казалось, имеется достаточно места для них обоих, и каждое могло извлечь пользу, общаясь друг с другом.

Позже, в Париже, я смотрела на нее под более критическим углом — там она стала развивать свои теперь широко известные теории и объяснять сущность своего искусства. Я теперь видела в ней не актрису, обладающую яркой индивидуальностью, но воинствующую доктринершу, к тому же я почувствовала множество противоречий между провозглашаемыми ею идеалами и исполнением, а большинство ее теорий были достаточно туманными и, по существу, не были по-настоящему связаны с танцем.

Она была наделена сентиментальностью, характерной для жительницы Новой Англии, что совершенно несовместимо с ролью революционерки.

«Я черпаю вдохновение для создания нового танца в нераскрывшемся цветке… Танец должен быть чем-то столь огромным и прекрасным, чтобы зритель сказал себе: «Я вижу перед собой движение души, души раскрывающегося цветка»».

В своем критическом отношении к балету, который она характеризует как «фальшивое и надуманное искусство», Дункан слепо нападает на основу всего сценического искусства — на его условный характер. Словно ребенок, уже выучивший алфавит, но не умеющий еще читать, в своем ограниченном сектантском видении она утверждает, будто искусство танца должно вернуться в свое естественное состояние, к своим основам. Но ей можно возразить, что природа никогда не создаст ни симфонии Бетховена, ни пейзажа Рейсдаля. Как видим, великий артист может оказаться посредственным теоретиком, и сила ее искусства заключалась в гениальной непосредственности движений ее тела, а не в притянутых за волосы аргументах.

Ее искусство по самой своей природе было глубоко индивидуальным и могло оставаться только таковым. Исходя из

своего собственного опыта, я поняла, что учить — это не значит передавать свои знания ученику или пытаться лепить его по своему образу и подобию. Преподавание какого-либо вида искусства может базироваться только на технике, выработанной веками.

Тезисы Дункан были полностью опровергнуты, когда Фокин, вооружившись всей техникой балетного танца, поставил «Эвнику» как дань уважения ее таланту, однако спектр используемых им движений намного превосходил возможности Дункан и ее учениц. Мы со своей школой могли танцевать так же, как она, но Айседора со своим чрезвычайно ограниченным «словарем» не могла соперничать с нами. Она не создала нового искусства. «Дунканизм» был всего лишь разновидностью того искусства, ключом от которого владели мы. Все те любители, которые сегодня ищут короткий путь к успеху и пытаются самовыразиться, гарцуя по сцене в греческом хитоне, — это результат ошибочных доктрин Дункан. Мое восхищение самой актрисой ничуть не уменьшилось, несмотря на мое критическое отношение. Я сохранила в памяти два чрезвычайно живых впечатления об этом сезоне, которые для меня суммируют как недостатки, так и возвышенные качества этой выдающейся актрисы.

По своему обыкновению, прежде чем поднялся занавес перед ее танцами на музыку из «Тангейзера», она обратилась к публике, чтобы объяснить свою интерпретацию произведения, сказав, что, по ее мнению, кульминация «Грота Венеры» слишком величественна, чтобы ее можно было выразить посредством танца, и что только погруженная в полумрак сцена и воображение зрителей могут вызвать нужную глубину чувств.

Но когда Айседора исполнила «Елисейские поля», ее артистические средства не только оказались адекватными, но поднялись на уровень, равный по своей высшей и абсолютной красоте самой музыке Глюка. Она передвигалась по сцене с такой удивительной простотой и отрешенностью, что могло быть порождено только гениальной интуицией. Казалось, она парила над сценой, являя видение мира и гармонии, само воплощение духа античности, которая была ее идеалом.

В действительности «Эвника» стала компромиссом между нашими классическими традициями и возрожденной Элладой, которую олицетворяла Айседора. Главная партия, которую в вечер премьеры исполнила Кшесинская, включала в свою ткань почти весь словарь классического балета. Павлова, напоминавшая фигурку с помпейского фриза со своей утонченностью и изысканностью, придала «Эвнике» определенное чувство стиля. Она так же, как и кордебалет, танцевала босиком или, во всяком

случае, создавала такую видимость. Они выступали в трико, на которых были нарисованы пальцы. После премьеры Кшесинская отказалась от роли, и ее передали Павловой, я же заменила последнюю.

Рассматривая творчество Фокина ретроспективно от первого опыта до последних совершенных произведений, можно увидеть, сколь робким было первое проявление его революционного духа. «Господи, помоги мне!» — перекрестившись, восклицает грабитель, прежде чем ограбить церковь. (…)

Глава 26

Я вернулась из Киева среди ночи — вокруг ни единого экипажа, ни одной живой души. Город охраняла новая милиция. По дороге домой меня несколько раз останавливали — вежливо просили предъявить документы. Это были в основном студенты, странное сочетание гражданской одежды и винтовки на плече.

Матильда Кшесинская (1872–1971) в одной из комнат своего

особняка на Кронверкском проспекте с фоксом Джиби и козочкой, принимавших участие в балете «Эмеральда», Санкт-Петербург. 1913 г.

Утром из окна открылся новый вид. Напротив стояло здание тюрьмы. Я всегда восхищалась красотой его пропорций и двумя фигурами коленопреклоненных ангелов над воротами, теперь оно было искореженное огнем, практически остался только остов. Дуняша рассказала мне, что наши оконные стекла даже раскалились от огня.

Поджигали тюрьмы, арсеналы, суды. Разрушили и несколько частных домов; разграбили дома министра двора и Кшесинской. Я встретила Кшесинскую в 1922 году в Монте-Карло. Она была тогда княгиней Красинской, женой великого князя Андрея Владимировича. Хотя она потеряла почти все состояние, но оставалась такой же жизнерадостной, как всегда, — ни единой морщинки, никакого следа беспокойства. К счастью для нее, когда разразилась революция, ее не было в Петербурге, она отдыхала в Крыму, вполне возможно, это спасло ее от гибели. Она рассказывала мне, с каким смешанным чувством страха и надежды приехала в Кап-д'Ай, не уверенная, существует ли еще вилла. Ее радость, когда она нашла дом в целости и сохранности, не знала границ. Она рассказала мне о своих скитаниях, при этом шутила, говоря о лишениях, и к своему теперешнему положению относилась с мужеством и философским спокойствием. Она продолжала танцевать даже без балетных туфель и была счастлива, как дитя, когда я подарила ей свои. (…)

В театре артисты, отойдя от прежних традиций, ввели в обиход обращение «товарищ». Был назначен новый директор, ученый, знаменитый профессор. Артисты организовали свои комитеты, я была выбрана председателем одного из них. Быть председателем и выступать в качестве примы-балерины оказалось выше моих сил. Я изо всех сил старалась, чтобы моя артистическая деятельность не пострадала: делала экзерсис рано утром, после собраний комитета спешила на репетиции, после репетиций — к столу, заваленному бумагами. Посыпались жалобы: молодые танцовщики требовали повышения им жалованья и продвижения под предлогом равноправия и справедливости. Комитет заседал с утра до позднего вечера. Наш чрезвычайно мягкий директор вопреки этикету приходил ко мне, председательствующей в тарлатановых юбках. В ведении комитета находилось и балетное училище, и в роли просительницы пришла ко мне Варвара Ивановна. Такая перемена ролей казалась мне отвратительной; я попросила пожилую

женщину, чтобы она посылала за мной, когда у нее возникнет какая-либо необходимость… В следующий раз я пришла к ней. Впервые увидела я ее комнаты. Так вот из каких приятных и уютных комнат появлялась пугающая фигура, облаченная в черный шелк. Мне было искренне жаль, что грозная «бука» моей юности лишилась своего былого престижа. Кроткая, слегка ссутулившаяся пожилая дама просила меня уберечь училище от предполагаемых реформ.

Мариинский лишился орлов и императорских гербов; засаленные куртки сменили красновато-коричневую форму бывших служителей.

Я помню вечер благотворительного спектакля — небольшая группа седовласых изнуренных людей сидела в царской ложе. Это были старые политзаключенные, пару месяцев назад возвратившиеся из Сибири. Теперь отдавали дань их мученичеству. Но наступила вторая фаза революции, и они оказались смыты новой волной и превратились в посмешище. Эта фаза покончила с оптимизмом. Фронт был прорван, дезертиры хлынули домой; дезорганизованные солдаты заполнили поезда — они ехали на крышах вагонов, цеплялись за буферы. Из голодных городов ежедневно толпы устремлялись в поисках пропитания. Правительство предпринимало отчаянные попытки продолжать войну. На каждом углу устраивались импровизированные митинги. Приехал Ленин; он произнес речь с балкона особняка Кшесинской, где устроил свой штаб.

Записки директора Императорских театров (Из воспоминаний В. А. Теляковского) [8]

Всеволожский был окружен людьми, об искусствах не спорящими, признававшими его за Юпитера. Кабинет его называли «Олимпом».

В этом кабинете обыкновенно сидели его помощник, управляющий делами дирекции В. П. Погожев, занятый всегда хозяйственной частью дирекции, а также разными проектами, и директор театрального училища старик Рюмин, главное занятие которого был сон и легкое храпение, как днем на кресле возле огромного письменного стола Всеволожского, так и вечером в балете на другом кресле, во втором ряду Мариинского театра. Просыпался он в кабинете при неожиданном появлении нового лица, нарушавшего его покой, а в театре — при падении его собственного бинокля на пол. Происходил некоторый чисто местный переполох, но скоро прежняя дремота восстанавливалась. Ко всему этому все давно привыкли — это была точно установленная программа дня.

Часто в кабинете Всеволожского появлялся еще заведующий постановочной частью петербургских театров А. Е. Молчанов — бывший правовед и будущий вице-президент Театрального общества.

А. Е. Молчанов всегда много ел и пил, еще больше говорил, и говорил всегда горячо, с убеждением, бия себя в грудь. Он был особым поклонником русской и французской кухни, русского театра, репертуара Островского, французского шампанского и немецких, фабричного изготовления, декораций, в которых замечательно точно сходились живопись и контуры кулис с разными пристройками на сцене. Эта точность приводила его прямо в восторг, и он уверял, что таких художников, как в Германии, нигде быть не может. Если какая-нибудь кулиса повредится, достаточно сообщить номер и букву ее в Германию, и немедленно будет прислана новая, точь-в-точь такая же. Все сделано так абсолютно точно, как в шариковых подшипниках. Любил Молчанов также и женщин, но этих последних предпочитал русского производства.

Молчанов был ревностным поклонником И. А. Всеволожского, сжился с его вкусом и взглядами на театр, и когда этот последний

покинул пост, А. Молчанов не счел возможным оставаться на своем посту и службу в императорских театрах тоже покинул, не переставая, однако, зорко следить за всем тем, что там происходило после его ухода.

Занимаясь очень ретиво театрами и артистами, Молчанов не менее ретиво вникал в дела Черноморского общества пароходства и торговли, в котором, как крупный акционер, был одним из директоров правления. Об этом коммерческом деле говорил он не с меньшим жаром, чем об убежище для престарелых артистов, им основанном. Убежище это — одно из самых лучших дел его жизни, и за это ему надо сказать большое спасибо. Вся его другая деятельность по театральному обществу была, в сущности, «много шума из пустяков».

Владимир Аркадьевич Теляковский (1860–1924) — русский театральный деятель, администратор, мемуарист. Последний директор Императорских театров (1901–1917)

Большой заслугой А. Молчанова было также издание «Ежегодника императорских театров», первым редактором которого он был. Также заслуживает внимания издание им книги о жизни и деятельности М. Г. Савиной, на которой он впоследствии женился.

Молчанов покинул службу в дирекции не только оттого, что место Всеволожского в 1899 году занял молодой новатор — князь С. М. Волконский, совершенно на И. А. Всеволожского не похожий ни по вкусам, ни по взглядам на театр, а более всего потому, что

Молчанову деятельность заведующего постановочной частью петербургских театров казалась уже мелка. Ему было узко в театральном озере императорских театров, он мечтал на своем челне выйти в открытое море русского провинциального театрального мира. Он принялся за основание императорского Русского театрального общества, во главе с другим русским театралом, менее его в этом деле опытным, но не менее его связанным с театром помощью любимой женщины-артистки балерины М. Кшесинской. Я говорю о великом князе Сергее Михайловиче, занимавшем совершенно исключительное положение в театральном мире в качестве великого князя и президента Русского театрального общества. Оба они имели в театре сильные ручки: А. Е. Молчанов — М. Г. Савиной, а Сергей Михайлович — М. Кшесинской.

И как великому князю Сергею Михайловичу командование всей русской артиллерией не мешало в часы досуга серьезно заниматься театральным делом, так и А. Е. Молчанову ведание всем российским театральным делом не мешало в часы досуга заниматься русским обществом пароходства и торговли. Все делалось с самыми лучшими намерениями, и если в конце концов у нас оказалась плохая артиллерия и плохой торговый флот, зато о театре, и о балете в особенности, не может быть двух мнений, и если бы на его долю выпала судьба защитить родину, то он это выдержал бы с честью, как впоследствии и доказал в Париже. Спорить можно было только о том, кто из них, то есть великий князь или Молчанов, правильнее распределяет настоящее свое дело и досуг, — только в этом и могла быть некоторая погрешность. Досуг с делом были перепутаны, и досуг сделался делом, а дело — досугом.

Но кто на этой земле без греха и ошибок? Некоторые даже утверждают, по легкомыслию конечно, что женщины были виноваты. Но я думаю, что в данном случае это едва ли верно.

М. Г. Савина отлично играла и была бесспорно прекрасная артистка.

М. Кшесинская прекрасно танцевала и была также бесспорно выдающаяся русская балерина.

Обе они свое главное дело делали хорошо, и осуждать их в театре как артисток не будем. Вне театра действия их нас мало касаются, мало ли кто и что вне театра делает в нашем обширном отечестве.

М. Савина любила жизнь вообще, а сцену особенно. М. Кшесинская любила балет вообще, а жизнь высочайшую особенно.

Для первой успех на сцене был главной целью, для второй

успех на сцене был средством: стремления ее были более грандиозны и обширны, и роль только балерины, хотя и выдающейся, не удовлетворяла ее смолоду.

М. Савина умерла, принадлежа до последнего часа сцене — отдав сцене сорок лет жизни.

М. Кшесинская уже на тринадцатом году службы вышла по собственному желанию из состава балетной труппы. Силы свои она берегла для другой цели. М. Кшесинская была женщина бесспорно умная. Она отлично учитывала как сильные, так в особенности и слабые стороны мужчин, этих вечно ищущих Ромео, которые о женщинах говорят все, что им нравится, и из которых женщины делают все, что им, женщинам, хочется.

За время моей трехлетней службы в Москве в качестве управляющего театрами служить с И. А. Всеволожским мне пришлось лишь полтора года, остальное же время я имел дело с новым директором театров князем С. М. Волконским.

Когда новый министр двора барон Фредерикс убедился, что с И. А. Всеволожским как директором театров работать ему будет трудно, он предложил этому последнему более спокойную и не менее почетную в министерстве двора должность директора Эрмитажа. Всеволожский впоследствии любил говорить, что тициановские мадонны, которыми он ведает теперь, гораздо покойнее прежних театральных: они мирно висят по стенам Эрмитажа и его не беспокоят, и когда их надо переместить с одного места на другое, все обходится без протестов и скандалов. Сам Всеволожский чувствовал, что взгляды его на театр Фредериксом не разделяются, — конечно, не с художественной стороны дела: об этой стороне Всеволожский мало новому министру докладывал, а этот последний еще менее расположен был об этом спорить.

Барон Фредерикс с Всеволожским расходился на другой почве. Фредерикс был человек очень богатый, но в то же время расчетливый. Он по своему характеру никогда бы не был в состоянии проживать капитал. Он не проживал даже и процентов. Дела свои частные он вел всегда в полном порядке. Так же смотрел он и на дела казенные и придерживался следующего оригинального взгляда на людей: если человек не умеет вести своих собственных, личных дел, то он сомневался, чтобы такой человек мог хорошо вести дела чужие, а тем паче дела бессловесной, доброй и богатой казны.

Всеволожский, несмотря на все достоинства свои, в глазах барона Фредерикса был плохим хозяином. Кроме того, Фредерикс не любил людей неискренних, а Всеволожского он считал человеком двуличным. Затем Фредерикс любил, чтобы к нему как

к начальнику, независимо от того, нравится он или нет, относились с известным уважением и почтением. Всеволожский же смотрел на Фредерикса как на сравнительно молодого и неопытного министра и, вероятно, не раз давал это ему чувствовать и этим Фредерикса раздражал. Всеволожский с докладом по хозяйственной и материальной части иногда посылал к Фредериксу своего помощника В. П. Погожева, многоречивые доклады которого и разные проекты Фредерикса утомляли.

Докладывая Фредериксу, Всеволожский часто ссылался на прежнего министра Воронцова-Дашкова и прибавлял фразы вроде: «Так было принято в министерстве», «Так всегда полагалось» и т. п.

Фредерикс же хотел, чтобы у него было так, как он этого хочет. Всеволожский часто, не желая сам отказать в чем-нибудь артистам или другим просителям, направлял их к министру или, отказывая, говорил, что он рад бы был то или другое исполнить, но министр против. Все это в таком нервном и чутком деле как дело театральное понемногу испортило их взаимоотношения. Фредерикс тяготился Всеволожским и ему не доверял, а этот последний был недоволен Фредериксом. В конце концов Всеволожский довольно неожиданно для самого себя был назначен директором Эрмитажа, а на его место и по его рекомендации вскоре был назначен директором князь С. М. Волконский. (…)

Н. И. Фигнер решил не петь такую-то оперу, и понадобилось вмешательство Ю. Ф. Абаза, чтобы написать трактат о примирении Н. Н. Фигнера с директором. М. Кшесинская юбки еще укоротила и т. д. Чиновник особых поручений при директоре — редактор «Ежегодника» С. Дягилев, не так давно князем Волконским приглашенный, заявил откровенно своему начальнику, что он бесхарактерен и слаб, и что давно пора ему отречься от короны директора и передать полномочия свои ему, С. Дягилеву, и издаваемому им журналу «Мир искусства»; самому же князю Волконскому, если он очень того желает, можно разрешить остаться, но лишь в качестве зрителя — сохраняя при этом, однако, ответственность. Князю Волконскому такое предложение показалось неприемлемым, и он с Дягилевым разошелся.

Все, что я здесь кратко описываю, не есть плод моей фантазии и нисколько не преувеличено. Все записано было у меня по дням, и когда обстоятельства позволят, я все эти мелочи подробно опишу, разрабатывая мои дневник. Сам я в Москве вначале прошел подобную же школу, хотя в Москве гг. артисты

были много скромнее и покойнее. В Петербург же, куда я был назначен после трех лет управления московскими театрами, я приехал в театральных делах несколько уже обстрелянным, но и то было вначале нелегко.

После всего вышеизложенного ясно будет, почему князю Волконскому было душно спать в своей небольшой по размерам спальне. Ему вообще не спалось. Постоянные телефоны, анонимные письма, жалобы, газетные статьи — все это вместе взятое доводило его до полного отчаяния, и, после второй крупной истории с Кшесинской, ему пришлось уйти.

Лично у меня о князе Волконском сохранились самые лучшие воспоминания — как о человеке, любящем театр, как о чуткой, художественной натуре, свободной от всякой рутины и условности, натуре ищущей, редко удовлетворенной и всегда искренне радующейся успеху других, хотя бы это были и его конкуренты. Его отношение ко мне, сначала как к его подчиненному, потом как к его конкуренту и, наконец, как к его заместителю, было совершенно исключительное, а так как о настоящем я привык судить по мелочам, то самое сильное впечатление на меня произвело его отношение ко мне, когда я, будучи назначен на его место, приехал к нему осматривать бывшую его и будущую мою квартиру в дирекцию. Надо иметь много такта, настоящей порядочности и благородства, чтобы так просто и приветливо принять меня, как это сделал он.

Князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) — русский театральный деятель, режиссер, критик, мемуарист, литератор; камергер, статский советник

Князь Волконский всегда любил театр. Пробыв на посту директора полтора года, он, несмотря на все неприятности, театр полюбил еще больше; понравилась ему и директорская корона, положение руководителя этого коллектива искусства. Ничего в жизни своей он так не хотел, как стоять во главе театров. Уходить ему было грустно, и его самолюбие было справедливо

оскорблено, ибо уходил он из-за чистой ерунды.

Совестно даже было сознаться, каков был повод ухода. Но, благодаря взбалмошности Кшесинской и поддержке ее великим князем Сергеем Михайловичем, положение Волконского стало совершенно невозможное, и как он ни надеялся на откровенное объяснение с государем, из этого объяснения ничего не вышло, и он должен был уйти.

Все, что им, как директором театров, было намечено к исполнению, начиная с предположения к постановке «Ипполита» в Александрийском театре и балета «Волшебное зеркало» в Мариинском, было мною точно исполнено и с особенным вниманием. (…)

До каких грандиозных планов доходили иногда «господа благотворители», видно, например, из следующего факта.

Во время японской войны М. Кшесинская задумала везти императорский балет во главе с ней, с благотворительной целью, в Париж и другие города Европы. Она должна была там дать ряд спектаклей, чистая прибыль от которых должна была идти на русский флот!!! Что она, артистка, это придумала — полбеды. Мало ли что женщина, да еще артистка, может придумать. Недаром еще Людовик IX говорил: «Если вы дадите женщине свободу говорить вам о важных делах, невозможно, чтобы она не довела вас до греха». И вот в течение почти двух месяцев вопрос о поездке Кшесинской серьезно разбирался. Идею Кшесинской поддерживал великий князь Сергей Михайлович и убеждал министра двора, барона Фредерикса, и государя дать на это свое согласие. Сколько докладов устных и письменных было по этому поводу, сколько переписки и сколько потрачено времени, чтобы доказать всю несуразность и неблаговидность подобной поездки! Только благодаря вмешательству молодой императрицы поездка эта не состоялась, несмотря на то, что переговоры великого князя Сергея Михайловича с одним из парижских театров были к тому времени уже закопчены.

Благотворительная вакханалия развилась особенно в начале девятисотых годов, достигнув небывалых размеров в 1903 году, но в этом же году, однако дирекции удалось после ряда просьб, докладов и ходатайств добиться запрещения сдачи императорских театров под благотворительные спектакли (за некоторыми исключениями для известных благотворительных обществ). Запрещено было и артистам императорских театров во время сезона принимать участие, без особого каждый раз разрешения, в частных благотворительных и иных спектаклях в Петербурге и его окрестностях.

Запрещения эти объявлялись уже несколько раз, но, несмотря

на это, артисты под тем или другим предлогом участие принимали. Наконец было приказано режиссерам отобрать у артистов соответствующие подписки.

Начавшаяся, однако, в 1904 году война с Японией вызвала к деятельности общественную благотворительность на помощь Красному Кресту, раненым, семьям убитых и т. п. Опять начался нескончаемый ряд спектаклей, концертов, вечеров и т. п. увеселений. Благотворители старались, конечно, представлять разные доводы о необходимости допущения благотворительных спектаклей, и чем больше воевали, тем более веселились. Так продолжалось до 1906 года.

Потом дирекция опять возобновила хлопоты о том, чтобы театров не сдавали благотворительным обществам. Деятельность их в некоторой степени сократилась, когда дирекция добилась разрешения не прерывать сезона на время великого поста.

Начавшаяся в 1914 году война опять повлекла за собой небывалое количество разных благотворительных спектаклей и концертов, и эта вакханалия продолжалась вплоть до революции уже без всякого удержу и в конце концов обратилась в настоящую спекуляцию. Право на театр, полученное разными благотворительными обществами, прямо продавалось темным спекулянтам-антрепренерам, и не было никакой возможности уследить за этими аферами. (…)

Из числа членов императорской фамилии серьезно вмешивались в дела дирекции двое: великий князь Сергей Михайлович и великая княгиня Мария Павловна. Первый вмешивался ввиду своей дружбы с М. Кшесинской и в своих вмешательствах руководился главным образом целями, которые преследовала она. Великая же княгиня Мария Павловна вмешивалась благодаря влиянию, оказываемому на нее М. Бенкендорфом, преследовавшим свои личные цели.

М. Бенкендорф давно считался другом великих князей Владимира Александровича и Алексея Александровича, вернее же сказать, был не другом, а шутом при дворах этих великих князей. Сам он считал себя большим знатоком не только театра, но и всех вопросов, касающихся искусства вообще, мечтал о посте директора театров и был очень обижен, что его на этот пост не назначали. Он был в близких приятельских отношениях с двумя лицами, тесно соприкасавшимися с театральной жизнью, — С. Дягилевым и А. Крупенским. Каждый из этих последних также, в свою очередь, тайно лелеял мечту о директорском месте. Все трое, по мере того как их вожделения становились все менее и менее осуществимыми, начали проявлять ко мне явную неприязнь и даже враждебность, принимавшую активный характер.

Интриги и истории, ими создаваемые, были самого разнообразного и каверзного свойства и часто ставили меня в чрезвычайно затруднительное положение, особенно щекотливое потому, что враждебная мне тройка неизменно опиралась на авторитет великой княгини Марии Павловны. Положение осложнялось еще тем, что нередко в возникшей истории великий князь Сергей Михайлович становился, со всем своим влиянием, в оппозицию к Марии Павловне и выдвигал какие-нибудь свои требования. Бенкендорф, Дягилев и Крупенский, бывавшие то в ссоре, то в дружбе с Кшесинской, не всегда знали, куда пристать, когда поднятая ими история начинала принимать слишком серьезный характер. Точно так же и великий князь Андрей Владимирович, бывший в дружбе с Кшесинской, часто колебался, какого лагеря держаться — Сергея Михайловича или Марии Павловны. Словом, путаница поднималась невообразимая.

В 1909 году, когда великая княгиня взяла под свое покровительство антрепризу С. Дягилева в Париже, Сергей Михайлович, обидевшись на С. Дягилева за то, что этот последний не пригласил Кшесинскую участвовать в парижских спектаклях, написал министру двора письмо, в котором обрушивался на антрепризу Дягилева, называл ее шантажной и советовал принять меры, «дабы прекратить наживу под флагом императорских театров». Для этого, по мнению великого князя, существовало только одно средство — чтобы дирекция сама, на свой счет, послала балетную труппу императорских театров в Париж во главе с Кшесинской. При этом в письме своем великий князь негодовал, что Мария Павловна позволила С. Дягилеву заручиться ее покровительством и, вероятно, не без участия в этом деле М. Бенкендорфа.

Письмо было написано спешно, и место отправления обозначено «Москва-вокзал»: он уезжал на Кавказ охотиться и не хотел откладывать это важное дело до своего возвращения. Он обещал по возвращении более подробно переговорить с министром о своем проекте.

Делом этим очень интересовался и великий князь Андрей Владимирович. 17 сентября он мне телефонировал, чтобы узнать, в каком положении обстоит дело Дягилева и правда ли, что его мать, великая княгиня, поддерживает антрепризу Дягилева и тем мешает осуществлению проекта Сергея Михайловича и Кшесинской.

Министру двора пришлось разбираться в домогательствах как Марии Павловны, так и Сергея Михайловича, причем удовлетворение желания одного нарушало возможность удовлетворить желание другого. Назревал неразрешимый

высочайший конфликт — и писалось немало по этому поводу бумаг и писем, не говоря уже о разговорах.

Балерина Матильда Кшесинская в кабинке для переодевания на пляже. Остенде. Бельгия. 1910-е гг.

В конфликте замешаны были и президент Академии художеств, и прима-балерина, и генерал-фельдцейхмейстер всей русской артиллерии, он же президент Театрального общества. Великому князю, кроме многосложных обязанностей по всей артиллерии и по всем театрам необъятной России, надо было успеть еще поохотиться и в России, и на Кавказе; затем необходимо было успеть заехать в Крым, куда министр двора сопровождал государя, и где вопрос о русском балете в Париже должен был окончательно выясниться. Понятно, что голова кругом пойдет, и письма об этом важном деле приходилось писать в пути, на вокзале в Москве. К тому же в данном случае обнаружился еще раскол среди членов самой царской фамилии, и чью сторону принять — для министра была задача не из легких. Вопрос о необходимости показать Кшесинскую в Париже во главе нашей несравненной балетной труппы поднимался уже неоднократно по разным поводам. Надо же было, наконец, решить, необходимо это или нет.

Самой крупной интригой за двадцать лет моего управления театрами было вмешательство великой княгини Марии Павловны в дела Михайловского французского театра в 1913 году. Вмешательство это было вызвано советом М. Бенкендорфа и

осуществлено при ближайшем содействии моего помощника, тогда управлявшего петербургской конторой императорских театров А. Крупенского.

Задумано было так.

Для улучшения дел Михайловского театра нужно пригласить на будущий сезон в качестве главного режиссера французского драматурга Ф. Круассе. Режиссера этого надо сделать самостоятельным директором Михайловского театра. Крупенскому — занять мое место директора, а меня убрать.

Все это было обдумано и решено помимо меня, за моей спиной, и с весны 1913 года приступлено к действиям. Осуществление всего этого проекта взяла на себя великая княгиня Мария Павловна. Однако, несмотря на хитро обдуманный план, затея эта потерпела фиаско в тот самый момент, когда, казалось, все благоприятствовало ее осуществлению.

Режиссер Ф. Круассе, приехав в Петербург, остановился во дворце Марии Павловны, писал мне письма на бумаге с бланком дворца и катался по городу в придворной карете с лакеем в красной ливрее. В такой карете этот француз приехал и ко мне в дирекцию. Я, будучи директором театров, ездил в простой карете, а он, режиссер, — в придворной.

Режиссера Ф. Круассе до того, как он женился на богатой француженке, мало знали не только в Петербурге, но и в Париже. Когда же он стал богат, то начал в Париже давать лукулловские обеды, ужины, вечера и различные праздники. Многие из членов императорской фамилии, во главе с Марией Павловной, стали посещать в Париже дом молодых Круассе, приятелем которых оказался М. Бенкендорф, а потом и А. Крупенский.

Круассе был очень польщен видеть в своем доме русских высочайших особ. Скромное положение в парижском высшем обществе его не удовлетворяло, и он задумал сделать блестящую карьеру в нашей северной столице, причем рассчитывал получить и придворное звание. Вероятно, многое за стаканом вина было ему обещано, и он захотел испытать счастье. Французы, хотя и республиканцы, но очень ценят и любят монархическую знать и для почета не пожалеют и денег, но только, конечно, не очень больших, ибо они на этот счет скуповаты. Ф. Круассе обещал сначала должность режиссера исполнять даром, но при первом же серьезном разговоре запросил 30 000 франков. Вскоре его убрали.

Кроме указанных мною выше членов императорской фамилии, все другие мало и редко вмешивались в дела дирекции. Вмешательство их, в сущности, мало отличалось от вмешательства вообще всех других влиятельных и высокопоставленных лиц и по большей части выражалось в

различных просьбах о принятии артистов и других лиц на службу в театры, об устройстве благотворительных спектаклей, о награждении ценимых ими артистов и т. п. (…)

Представления Вагнера посещали; на эти оперы была мода, хотя находили их очень скучными. Больше нравился балет и французский театр, и менее всего — Александрийский, хотя к этому драматическому театру за последнее время отношение высшего общества несколько изменилось — Александринку стали больше посещать. Вообще же интересовались не столько спектаклями, сколько артистами с именем, и ужасно любили выслушивать различные анекдоты о модных артистах, особенно о Кшесинской, Шаляпине, Собинове, Кузнецовой, Липковской, Савиной и других. (…)

Все же петербургский балет собирал больше денег, и причина этого явления ясна. Помимо выдающихся качеств петербургской балетной труппы, опытного балетмейстера М. Петипа, на петербургский балет дирекция денег не жалела, и как бы в художественном отношении некоторые балеты ни были поставлены неудовлетворительно, все же обставлены они были роскошно и нарядно, и каждая новая постановка возбуждала прежде всего интерес как новая. В Петербурге гораздо больше было любителей балета. В Петербурге была высшая власть, двор, многочисленное аристократическое и чиновничье общество. Балету особенно покровительствовала и дирекция, ибо связь его с влиятельными мира сего была довольно тесная: с этим надо было считаться и часто думать не столько об успехах искусства, сколько об угождении не всегда художественным вкусам влиятельных людей и их близких. Словом, тут обстановка была совершенно другая, чем в Москве. Здесь, в Петербурге, балет не спал. Он работал и на сцене, и вне ее. И, конечно, балетоманские ужины по воскресеньям у Кюба не особенно походили на скромные ужины замужних балетных артисток в ресторанах Эрмитажа или Метрополя.

В Петербурге была вся гвардия, в самых разнообразных и красивых мундирах, и хотя, может быть, не было таких денег, как в Москве, но зато были связи и титулы, чины и придворные звания и другие блага мира сего, — тут и дипломаты самой высокой марки, не чета московским иностранным консулам; словом, Петербург был расположен у подножия Олимпа. Один московский купец, Р[одион] В[остряков], говорил Коровину, характеризуя Петербург:

— Правда, ведь Петербург танцевальный город? А вот они, — указывал он на соседей, — со мной спорят.

Когда московский балетоман попадал в воскресенье на

балетный спектакль в Мариинский театр, он и фрачный жилет надевал не иначе, как парижский; облекался в узкие сапоги, заезжал по дороге на Морской к парикмахеру и, окончательно поставленный этим последним в точный курс политики и последних событий, появлялся довольно робко в зрительном зале. За билет охотно платил барышнику московскую порцию.

Прежде всего его поражала зрительная зала. Это не как в Москве, где публика в платочках и пиджаках. Здесь все во фраках, офицеры со шпорами и с особыми усами, дамы с обнаженной, белой как снег грудью — бриллианты, духи, кружева…Здесь и без балета есть на что поглядеть. Царская ложа не пустая, как часто бывает в Москве. Все на своих местах сидят. Ну как не сказать, что «город танцевальный»? Кроме того, тут все знакомы, все друг другу кланяются, все свои. А капельдинеры как вежливы и как хорошо одеты — в Москве часто ливреи мешками сидят, а здесь как будто на каждого сделаны по мерке.

В Петербурге в то время был один абонемент на сорок представлений, а так как всех их было около пятидесяти, то значит, все представления были заняты одними и теми же посетителями. Была, так сказать, одна большая балетная семья со всеми достоинствами и недостатками семейной обстановки. На первый взгляд странно, как это — правительственный театр, а пользоваться билетами могут только абонированные, и почти весь сезон?

Но мало ли что в петербургском балете казалось на первый взгляд странным. Взять хотя бы самый репертуар. Казалось бы, балерина, служа в дирекции, должна принадлежать репертуару, а тут оказывалось, что репертуар принадлежит М. Кшесинской, и как из пятидесяти представлений сорок принадлежат балетоманам, так и в репертуаре — из всех балетов более половины лучших принадлежат балерине Кшесинской. Она считала их своею собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим.

Бывали случаи, что выписывали из-за границы балерину. В контракте у нее были обусловлены для гастролей балеты. Так было с балериной Гримальди, приглашенной в 1900 году. Но когда она вздумала один балет, обозначенный в контракте, репетировать (балет этот был «Тщетная предосторожность»), Кшесинская заявила:

— Не дам, это мой балет.

Начались телефоны, разговоры, телеграммы. Бедный директор метался туда-сюда. Наконец послал министру шифрованную телеграмму в Данию, где тот в это время находился при государе. Дело было секретное, особой

государственной важности. И что же? Получает такой ответ: «Так как балет этот Кшесинской, то за ней его и оставить».

Все детали этой эпопеи поразительно интересны, — но об этом когда-нибудь.

Раз один наивный человек меня спросил:

— Да что же это, наконец? В Александрийском театре — Савина, в Мариинском — Кшесинская распоряжается, — а вы кто же?

Я отвечал:

— Директор.

— Да какой же вы после этого директор?

— Самый, — я говорю, — настоящий, и советник тайный, а распоряжаются явные директора, но в списке администрации они, как лица женского пола, по недоразумению не записаны.

Матильда Кшесинская (с фотоаппаратом в руках), великий князь Андрей Владимирович с сыном Владимиром на веранде перед отелем. Остенде. Бельгия

«В первый же вечер великий князь Андрей произвел на меня

огромное впечатление. Он был на удивление хорош собой и очень робок, что, впрочем, совсем его не портило — скорее наоборот… С этого дня в моем сердце проснулось давно забытое чувство… После первой встречи с великим князем Андреем мы стали видеться все чаще, и наши отношения переросли в большую любовь. Рождение сына Владимира в 1902 году еще более укрепило этот роман».

(Матильда Кшесинская)

И действительно: как в Александрийском театре репертуар возили на предварительное утверждение М. Г. Савиной, точно так же в балете поступали по отношению к Кшесинской. Тут дело даже было проще, балетный репертуар короткий: один-два в неделю; и вот перед выходом этого репертуара в дирекцию являлся главный режиссер балета Аистов. Он был такой большой и солидный мужчина, говорил громко и басом:

— Кшесинская прислала мне сказать, что тогда-то она будет танцевать такой-то балет, о чем и считаю долгом поставить ваше превосходительство в известность.

— Что же, хорошо, — отвечал директор. — Пускай танцует. А я думал было дать балет другой, и такой-то танцовщице… Ну, все равно, я повременю, отложим до следующего раза.

— Конечно, — отвечал режиссер. — С Кшесинской все равно ничего не сделаешь, такой уж порядок еще при ваших предшественниках был заведен.

Все это не анекдоты, а истинная быль.

Когда я впервые, в 1901 году, познакомился с петербургским балетом, я встретил из рук вон плохое режиссерское управление. Только что за взятки был уволен режиссер Л[ангаммер], но от этого стало только немногим лучше. Конечно, дело не в галстуках или булавках, за поднесение которых можно было получить лучшее место в кордебалете, а дело в той распущенности, историях, сплетнях и постоянных жалобах, с которыми артистки и артисты были вынуждены обращаться в контору.

Петипа достиг уже серьезного возраста, многое забывал, жаловался на главного режиссера Аистова; этот последний жаловался, в свою очередь, на Петипа, и каждый день из-за всяких пустяков происходили столкновения. На Петипа еще влияла преподавательница танцев артисток — «класс усовершенствования» вела Е. П. Соколова, бывшая балерина, желавшая протежировать тех, которые занимались у нее. Другие, в том числе М. Кшесинская, занимались у Н. Легата, который был также хорошим преподавателем.

Легат называл Кшесинскую «Маля», а она его «Колинька».

В распределение балетных мест вмешивались еще некоторые

балетоманы, особенно некий Безобразов. С балетоманами дружил и М. Петипа, дружил он и с редактором-издателем «Петербургской газеты» стариком Худековым. Некоторые балетоманы, с его разрешения, посещали не только сцену, уборные артисток и репетиции, но и репетиции в театральном училище, причем иногда садились у зеркала в репетиционном зале рядом с М. Петипа и вместе с ним выбирали танцовщиц для того или другого места.

Петипа преследовал свои цели, режиссер Аистов свои, помощники режиссеров тоже свои, а балетные артисты в уборных играли в азартные игры.

Словом, был невероятный кавардак, и когда режиссеру Аистову делались указания на то, что иногда в первой линии кордебалета танцуют неподходящие по физическим данным и годам танцовщицы, он со свойственной ему бестактностью объявлял громогласно этим танцовщицам, что «директор приказал старых уродов убрать, а в том числе и вас». Когда ему было указано на слишком короткие юбки некоторых танцовщиц, он всех танцовщиц стал обходить с аршином, измеряя длину юбки и ног. Все это нарочно делалось грубо, под предлогом приказания строгого, требовательного и бессердечного начальства. Происходили истерики, обиды. Разводились бесконечные истории, и чуть не полдня управляющему конторой приходилось заниматься разборкой этих бесконечных дел. Настоящего управления в балете не было, и все, кроме особо привилегированных, были недовольны. В этом отношении разница с патриархальным московским балетом была большая.

Была у петербургского балетного управления другая скверная черта: оно не давало хода молодым силам, оканчивавшим училище чуть ли не с полным баллом; если эти молодые артистки не имели особой протекции, они должны были годами танцевать у воды, дожидаясь ухода старых на пенсию. Конечно, при подобном положении дел, потеряв всякую надежду на получение лучшего места, молодые танцовщицы переставали заниматься усовершенствованием. Особенно трудно было молодым танцовщицам, добившись сольных номеров, получить главную роль хотя бы в одноактном балете, в виде дебюта или пробы. Можно было легко в опере заменить в случае болезни Фигнера, Шаляпина, в драме Давыдова, но нельзя было и думать вице-балериной заменить балерину. Помню еще по Москве, как В. П. Погожев на мое решение дать Е. Гельцер попробовать протанцевать главную роль в балете сказал, что «немыслимо это сделать без решения директора» (тогда Всеволожского). Благодаря этому в Петербурге долгое время была лишь одна

балерина Кшесинская, а Преображенская лишь на двенадцатом году службы удостоилась этого звания, и то благодаря тому, что за нее хлопотал брат тогдашнего директора князь Волконский.

Многие талантливые балетные артистки так и не могли до старости испытать свои силы в первых ролях. Например, танцовщицу Рыхлякову захотели пробовать, когда у нее уже не было ни молодости, ни энергии, — а танцовщица она была выдающаяся. (…)

М. Петипа окончил свою деятельность постановкой балета «Волшебное зеркало», балета, наделавшего столько шума и вызвавшего ожесточенную борьбу балетоманов против «декадентской» обстановки балета. Эти последние, с ведома самого Петипа, устроили грандиозный скандал на первом представлении балета в присутствии государя в 1903 году.

После этого сезона здоровье Петипа стало резко ухудшаться, и он уже мало принимал участия в жизни балета, надолго, однако, оставив память своей блестящей полувековой деятельностью. Умер он 2 июля 1910 года — восьмидесяти восьми лет от роду. После М. Петипа, в сущности, настоящего постоянного балетмейстера в Мариинском театре больше уже не было.

Широкий доступ, открытый дирекцией для испытания молодых артисток на роли балерин, дал хорошие результаты, и за эту эпоху, кроме бывших уже балеринами М. Кшесинской и О. Преображенской, появилась целая плеяда блестящих молодых балерин, первое место среди которых заняла Павлова 2-я, затем Трефилова, Карсавина, Егорова, Седова, Смирнова, Ваганова и другие.

В числе выдающихся танцовщиков надо отметить, кроме Н. Легата и старого П. Гердта, Андрианова, В. Нижинского, Фокина, А. Ширяева, Владимирова, Г. Кякшта, Л. Леонтьева, М. Обухова, Стуколкина, Солянникова, А. Больма и других. (…)

Из дневников В. А. Теляковского [9]

3 января 1902 года. Неужели это театр, и неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями и не только это не скрывающую, а, напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий циничный венок людской падали и разврата. Лаппа сообщил мне, что Кшесинская сама рассказывает, что она беременна; желая продолжать все же танцевать, она некоторые части балета переделала, чтобы избежать рискованных движений. Кому будет приписан ребенок, еще неизвестно. Кто говорит — великому князю Сергею Михайловичу, а кто великому князю Андрею Владимировичу, другие говорят о балетном Козлове.

9 февраля 1903 года. Потоцкая совсем теперь ошалела и думает, что должна пользоваться влиянием вроде Кшесинской. Всем угрожает, рассказывает, что она того-то добьется, что она покажет и т. п. Будучи по натуре совершенной горничной, она способна хвастаться всем тем, что порядочная женщина скрывает. Как трудно при этих условиях работать и сколько раз приходит в голову мысль все это бросить и кончать! Такое болото сделалось в театрах.

«Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение ужасно».

(Матильда Кшесинская о Николае II)

Танец с Матильдой (Из мемуаров и дневников М. Петипа) [10]

Накануне первого представления моего балета «Дон Кихот» отправился я на Семеновский плац и там, на Конном рынке, отыскал лошадь, достойную стать Росинантом. В вечер премьеры на сцену пришли великие князья, чтобы полюбоваться этой лошадкой с уныло повисшей головой, торчащими ребрами и волочащейся задней ногой. Великий князь Константин Николаевич спросил меня:

— Петипа, где это вы раздобыли такую лошадь, это же настоящий Росинант?

— Купил на Семеновском плацу, ваше высочество!

— И сколько за нее дали?

— Девять рублей, ваше высочество.

— Да это просто даром, Петипа! Теперь у вас одной артисткой больше!

В самом деле, при первом своем выходе лошадь имела огромный успех — публика долго аплодировала, в зале долго не смолкал хохот.

Теперь перейду к апофеозу моей артистической карьеры; я должен рассказать — для того, чтобы оправдать себя как балетмейстера, — при каких обстоятельствах был поставлен мной балет «Волшебное зеркало».

Во время репетиций этого балета, который заказан мне был не г-ном Теляковским, а еще князем Волконским, я почувствовал, что против меня и этого балета что-то затевается. Г-жа Кшесинская, артистка, обязанная мне всей своей карьерой, тоже участвовала в этом заговоре, мстя мне за то, что я в бенефис ее батюшки не приветствовал его речью, — но у меня болело горло, я не в состоянии был говорить пред публикой, да и вообще не обязан я говорить речи на каждом бенефисе.

[Приведу одно из писем ее:

«Очень дорогой и крайне любезный господин Петипа!

Вы были так любезны, что на просьбу мою ответили обещанием бросить гениальный взгляд Ваш (в подлиннике: donner votre coup d’oeil genial) на мое исполнение, когда я буду репетировать свое па с Кякштом. Вернувшись домой, я поняла, что для Парижа нужно Ваше вдохновение, а не фантазия Вашей покорнейшей слуги. Я обращаюсь поэтому к Вам, дражайший г.

Петипа, с просьбой сочинить для меня очень, очень хорошенькое pas de deux и обещаю, что Вам за меня не стыдно будет. Я выбрала для этого па музыку из последнего действия Коппелии. Я остаюсь еще здесь понедельник и вторник и надеюсь, что Вы будете столь любезны и приготовите мне в эти два дня мое па. Примите заранее выражение благодарности очень Вам преданной Матильды Кшесинской».]

Участвовал в этой интриге и г-н Головин, художник-декадент, разумеется, чтобы подладиться к директору. А когда поднялся занавес, публика при виде его декорации с гномами разразилась хохотом. Художник Головин тяготеет к декадентскому искусству, а кроме того, человек он крайне неучтивый. Три раза писал я ему по вопросам, связанным с декорациями этого балета, а он мне даже не ответил. Пусть публика сама скажет, как таких людей называют.

По окончании генеральной репетиции я решил отправиться к директору и умолять его позволить мне поставить в свой бенефис вместо этого какой-нибудь из старых балетов. Вдруг кто-то подкрадывается сзади, закрывает мне руками глаза и кричит: «Браво, браво, г-н Петипа. Это настоящий шедевр. Балет будет иметь огромный успех».

— Ваше превосходительство, он провалится, уверяю вас.

— Да нет, что вы, г-н Петипа! Рядом со мной в креслах сидел известный редактор московской газеты; тот тоже говорил: «Очаровательно, балет будет иметь огромный успех».

Назавтра вечером — театр переполнен, в царской ложе государь и вся императорская семья. Тот, кто присутствовал на этом спектакле, помнит, должно быть, какие саркастические возгласы раздавались в публике — впрочем, что же в этом удивительного. Высокие колпаки на мужчинах, как я уже писал однажды, сползали им на плечи, а танцовщицы, которые должны были изображать цветы бессмертника, были в костюмах нимф. Словом, все было отвратительно, не были даже готовы костюмы и декорации.

Накануне спектакля пришли меня просить, чтобы я отложил мой бенефис, но на это я не согласился, ведь все билеты были уже проданы. Слава богу, что хоть двор, публика и газеты признали удачными поставленные мною танцы.

Поистине грустные наступили времена, сердце кровью обливается, когда подумаешь, что у тебя крадут твои сочинения, а ты даже и протестовать не можешь.

Дневники М. Петипа

1903 год

Моя последняя воля в отношении моих похорон. Все обязательно должно быть очень скромно. Две лошади для дрог. Никаких приглашений на похороны. Только объявление в газетах, оно заменит их.

В этом 1903 году я заканчиваю свою долгую артистическую карьеру — шестьдесят шесть лет работы и пятьдесят семь лет службы в России. Получаю 9000 рублей годовой пенсии, продолжая до смерти числиться на службе. Это великолепно. Боюсь только, что мне не удастся воспользоваться этой замечательной пенсией.

1 января. Подписался на год на «Петербургскую газету». Вечером «Эсмеральда» с г-жой Кшесинской. Сбор 2884 р. 95 коп. (…)

6 января. Должен был репетировать с г-жами Кшесинской и Преображенской, но обе заболели. Стал репетировать балабиле, солнечные лучи, звезды. Сочинил па для восьми маленьких звезд.

7 января. Встаю в 7 часов. Чувство слабости. Сейчас пойду репетировать в присутствии г-на директора четыре танца из последнего акта. Г-жа Кшесинская больна, так же как и г-жа Павлова 2-я. Поставил г-жу Трефилову на место г-жи Павловой в pas de trois.

8 января. Ничего не могу ставить. Болеют и г-жа Кшесинская и г-жа Павлова 2-я. Отрабатываю лишь pas de trois из последнего акта с г-жой Трефиловой вместо г-жи Павловой. Вечером у меня г-н Безобразов. Почти все места на мой бенефис разобраны.

9 января. «Зеркало» прорепетировать не удалось. Поэтому стал с г-жой Седовой репетировать «Корсара».

10 января. Почти все билеты на мой бенефис проданы. Утром в Училище — сочинял тирольский танец для г-жи Кшесинской и Легата 3-го. Вечером у г-на Безобразова по поводу билетов.

11 января. Репетировал с дублерами танцы из «Корсара». Затем сочинил вариации в pas de deux последнего акта для г-жи Кшесинской. Очень удачно. Легат 3-й болен. Вечером сижу дома. Сочинил уже все танцы своего балета. (…)

19 января. Вечером бенефис г-на Кшесинского — шестьдесят пять лет артистической деятельности. Дают в 203-й раз «Дочь фараона». Танцуют г-жи Кшесинская, Преображенская и г-н Гердт. Театр не полный. Государь и государыня не приехали. Были вдовствующая императрица и наследник. Сбор 6649 р. 13 коп. (…)

26 января. Утром опера «Пиковая дама». Вечером 29-е представление «Лебединого озера» с г-жой Кшесинской. Сбор 2799 р. 20 коп. Погода ужасающая. Зимы так еще и нет. (…)

8 апреля. В Училище репетируют «Спящую красавицу» с г-жой Кшесинской. Объявляю себя больным. Не хочу репетировать. (…)

Мариус Иванович Петипа (1818–1910) — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог

13 апреля. Вечером 100-й спектакль «Спящей красавицы». Я не поехал в балет из-за этой злюки и свиньи — г-жи Кшесинской. Преображенская Кошечку танцевать не будет — будет Трефилова. Прогулка по Летнему саду.

14 апреля. Репетируют «Гарлемский тюльпан». Худеков пишет статьи об этой негоднице Кшесинской. Следовало бы за них его отлупить. У него лакейская душа. (…)

27 апреля. Вечером: «Очарованный лес» — Егорова, Фокин, Лукьянов и «Тщетная предосторожность» — г-жа Кшесинская. Ширяев изображал мать, Легат 1-й — Колена. Сбор: 2707 р. 95 коп. В балет не еду. (…)

18 мая. Вечером дают оперу «Жизнь за царя» по случаю 200-летия Санкт-Петербурга. Мазурка — Гердт, Кшесинский-отец, Лукьянов и Гиллерт. Г-жи Кшесинская, Преображенская, Седова и Обухова. Я все время оставался дома. Спектакль был лишь для приглашенных. (…)

11 ноября. В Училище провожу репетицию «Лебединого озера» для возвращения г-жи Кшесинской. Репетировали до $4^{3}/_{4}$. Кордебалет просил меня прорепетировать с ними для их бенефиса «Талисман». Дай бог мне сил. (…)

13 ноября. В театре провожу оркестровую репетицию «Лебединого озера» для возвращения г-жи Кшесинской. Дать список участников «Наяды» г-ну Крупенскому. (…)

22 ноября. В Училище репетировал тирольское pas de trois из «Зеркала» — Павлова, Трефилова и Козлов. Затем pas de deux из последнего акта «Зеркала» — г-жа Кшесинская и Сергей Легат. (…)

30 ноября. В 2 часа иду к его превосходительству г-ну Всеволожскому. Кашляю и нездоров. Не следовало бы выходить. Был принят его превосходительством г-ном Всеволожским в то время, как он завтракал со своей дочерью и ее тремя девочками. Господи, уже час. Вечером давали «Волшебную флейту» с г-жой Егоровой, «Фею кукол» и один акт из «Фиаметты». Два последних

балета с г-жой Кшесинской. Г-жу Преображенскую заменила Трефилова. Сбор 2835 р. 20 коп. Преображенская в Москве. (…)

14 декабря. Вечером «Конек» с г-жой Кшесинской. Иванушка-дурачок — Воронков и моя дочь Вера в фресках. Сбор 2850 р. 57 коп. Похороны Иогансона. Ходил с сыном в церковь на заупокойную службу Иогансона.

15 декабря. Утром в театре с оркестром и декорациями. Несколько костюмов и аксессуаров. Музыка отвратительная. Декорации плохи. Репетировали без г-жи Кшесинской. Чувствую недомогание. (…)

30 декабря. Утром дают «Конька-Горбунка» с г-жой Кшесинской. Сбор 2495 р. 44 коп. В балет не иду. Вечером в Училище сочиняю пантомиму Феи садов. Сочинил сцену до большого адажио. Девятая репетиция. (…)

1904 год

7 января. Сегодня вечером 206-е представление «Дочери фараона» с г-жой Кшесинской. Сбор 2823 р. 45 коп. Я иду репетировать, когда вечером большой балет. В 10-й раз заставляю репетировать «Роман бутона розы». Я сочинил все группы большого адажио и к 3 часам закончил репетицию. Вечером сижу дома. (…)

17 января. До сих пор не получаю никакой бумажки или уведомления о том, что репетируют. Странно. Вчера приходил капельдинер Александр от имени г-на Гердта со списком для прощального бенефиса г-жи Кшесинской. Ни я, ни моя дочь Вера своих подписей не поставили. Браво!

18 января. Утром опера, а вечером 31-е представление «Лебединого озера» с г-жой Кшесинской. Ходил на балет с дочкой Верой. (…)

25 января. Вечером дают 1-й акт, 3-ю картину «Конька» — г-жа Кшесинская. Роль Хана вместо Кшесинского-отца исполняет Гердт. Затем 1-й акт «Фиаметты» — г-жа Кшесинская, Амур — г-жа Кускова. Моя дочь уехала в Москву на бенефис г-жи Рославлевой. Павлова тоже. Она ставит мою «Баядерку». Наконец последний акт «Пахиты» со всеми моими танцами. Г-жа Кшесинская, которая не дает танцевать г-же Преображенской и другим танцовщицам. Сбор 2839 р. 95 коп. Объявлена война. Первыми начали японцы. Великий князь Владимир и его супруга были в театре. Гимн играли два раза. (…)

27 января. Прощай, жизнь. Начинается для меня трудное время. Работать я больше уже не буду. С шестнадцатилетнего возраста до сегодняшнего дня это составляет семьдесят лет трудов.

28 января. Вечером «Эсмеральда». Кшесинская. Гердт играет Клода Фролло. Кшесинский заболел. Сбор 2807 р. 45 коп. Утром сижу дома. Каждую минуту телеграммы с театра военных действий. (…)

4 февраля. Вечером прощальный бенефис г-жи Кшесинской. Дают 1-й и 2-й акты «Тщетной». Г-н Гельцер играет мать. Выступает он здесь впервые. Ему семьдесят первый год. Затем 2-я

картина 1-го действия «Лебединого озера». В театр я не иду. (…)

4 апреля. Вечером первое балетное представление после пасхи. Дают в 51-й раз по возобновлении «Конька». Впервые г-жа Преображенская после ухода г-жи Кшесинской. Дочь Вера танцует в фресках другую фигуру. У Преображенской успех. Сбор 2879 р. 82 коп. (…)

10 декабря. В театре генеральная репетиция бенефиса г-на Ширяева. Вечером опера. В $7^1/_2$ часов возобновление «Руслана и Людмилы» Глинки. Новые и переделанные танцы. Балетик ужасен: «Брама», две картины с г-жой Кшесинской. Балет отвратителен. Директор долго говорил со мной. (…)

12 декабря. Послал г-же Преображенской список исполнителей балета «Путешествующая танцовщица» и список аксессуаров. Вечером бенефис г-на Ширяева. Зал полон. Сбор 2911 р. 70 коп. 1) «На перепутье» — в одном акте — ужас. 2) Дивертисмент — Вера танцует с Фокиным калабрийский танец. 3) Два акта из «Брамы» — г-жа Кшесинская. На спектакль я не пошел. У г-на Всеволожского встретил г-на Направника и других. (…)

20 декабря. Репетируют «Тщетную предосторожность» для г-жи Кшесинской. (…)

1905 год

2 января. Утром «Тангейзер» — мои танцы. Вечером два акта из «Тщетной предосторожности» и один акт из «Пахиты» с г-жой Кшесинской. В 2 часа у г-на Дриго по поводу вариации г-жи Преображенской. Она забыла и не пришла. (…)

14 января. В театре репетируют «Лебединое озеро». В балете должна была танцевать Кшесинская, но так как она трусит (в Мариинский театр поступили анонимные письма с угрозами в адрес Кшесинской, известной своими связями с царем и великими князьями. — Б.С.), вместо нее будет танцевать Преображенская. (…)

23 января. Утром «Кармен». Вечером: 1) «На перепутье» (в третий раз), 2) 2-я картина «Лебединого озера» и 3) последний акт из «Пахиты» — г-жа Кшесинская.

26 января. Дают «Конька». Зал неполон. Г-жа Кшесинская с отцом. (…)

13 февраля. Вечером бенефис кордебалета. В 207-й раз моя «Дочь фараона». Кшесинская, Преображенская, Петипа 1-я, Павлова. Бенефис прошел при полном зале. Утром «Аида» с моими танцами, а вечером мой балет «Фараон». (…)

20 февраля. В театр не иду. Позор, как это возобновлено и исполняется. «Голубая георгина» — Егорова, затем «Тщетная предосторожность» с этой мерзкой Кшесинской. Писал директору, чтобы он снял мою фамилию с афиши «Голубой георгины». Он это сделал. (…)

27 февраля. Сегодня день моего рождения. Мне восемьдесят семь лет. Возраст что! Вся беда в том, что приходится мучиться. Вечером мой балет «Жемчужина». Г-жа Ваганова ужасна. «Голубая георгина» — Егорова — плоха. «Грациелла» — г-жа Трефилова. Один акт из «Корсара» — Оживленный сад с г-жой Павловой. «Фиаметта» с Кшесинской и М. Петипа. В театр я не иду. (…)

Матильда Кшесинская (справа) и Николай Солянников (слева) в балете Мариуса Петипа «Пробуждение Флоры»

Памяти великого мастера
Из воспоминаний Н. Г. Легата [11]

В работе Петипа был суров и никогда не имел любимчиков в труппе. В первые годы моего пребывания на сцене он не обращал на меня внимания: прежде всего я должен был доказать, стою ли я чего-нибудь. Мне уже минуло двадцать шесть лет, когда Петипа дал мне наконец ведущую роль. Одним из любимейших его сочинений было pas de trois в балете «Пахита», которое исполняли Кшесинская, Анна Иогансон и я. Петипа называл его «золотое pas de trois». (…)

Дочь фараона (Из воспоминаний В. М. Петипа) [12]

Отец призывал в танце исходить от сюжета балета и намеченного образа.

Так, М. Ф. Кшесинской, исполнявшей главную роль в «Дочери фараона», он часто во время спектакля напоминал за кулисами, чтобы она не забывала, что она — дочь фараона, и не нарушала бы гармонию создаваемого образа.

Замысел балета должен был выявляться в исполнении танцев. Для выражения чувства радости, гнева, любви, задумчивой лирики или горя и страдания он призывал наблюдать природу в ее многогранных проявлениях и переливах — от грозной мрачности до буйной жизнерадостности, в легком дыхании ветерка, в трепетании листьев и цветов, в шепоте трав и растений. Поэтому отец настаивал на занятиях летом, когда люди ближе к природе, и когда мускулы скорее поддаются развитию техники. (…)

К числу артисток, о которых я слышала от отца (или помню сама), и которые вполне удовлетворяли его художественным требованиям, принадлежали, кроме его первой жены, высокоталантливые В. Никитина, обладавшая исключительным природным дарованием, О. Преображенская, воплощавшая в пластических движениях всю совокупность музыкальных замыслов, М. Кшесинская, одаренная выразительной эмоциональностью, А. Павлова, пленявшая своей исключительной элевацией и античной формой танца, и приезжавшая из Москвы Л. Рославлева, блеснувшая своими исключительными данными.

Из воспоминаний Д. И. Лешкова [13]

Часть первая
Собрание воспоминаний детства, кадетской и юнкерской жизни

Балет, как и следовало ожидать, нисколько не повлиял на ход моих занятий в училище, а если и повлиял, то исключительно в хорошую сторону, то есть я из боязни не попасть в отпуск и пропустить таким образом спектакль стал лучше заниматься и строже придерживаться инструкций училища. Администрация училища разрешала мне частным образом являться после спектаклей не в 12 часов ночи, а в $12^1/_2$ и даже в 1 час, что позволяло мне по окончании спектакля проторчать определенное время на артистическом подъезде и иногда даже проводить до дому кого-либо из артисток или поужинать в компании товарищей по театру.

В начале февраля 1904 года в театре разыгралась довольно скверная история, в которую я был замешан как пострадавший и благодаря которой чуть было не вылетел из училища. Началось с того, что юнкера в училище, зная меня и Н. В. Савицкого за постоянных посетителей балета и имеющих там обширные знакомства, часто просили доставать им билеты, что мы охотно и делали. Так как в этот период, то есть перед уходом со сцены М. Ф. Кшесинской, театр был каждый спектакль переполнен, и достать в кассе билеты было совершенно невозможным, то мы, обыкновенно, пользовались любезностью М.Ф., которая благодаря своему влиянию записывала нам вперед в кассе билеты, которые нам и оставляли или же посылали прямо на квартиру Кшесинской, а мы перед спектаклем заезжали к ней за ними.

Так продолжалось вплоть до прощального бенефиса, причем количество ходивших благодаря нам юнкеров все время увеличивалось в геометрической прогрессии и доходило иногда до 30–40 человек. Все мы, по большей части, располагались в ложах 3-го яруса с правой стороны. Так как главный контингент юнкеров представляют провинциалы, приехавшие впервые в столицу и никогда в жизни не видевшие балета, а многие даже и театра вообще, то естественно, что и самостоятельной оценки артистов у них не было, и я и Савицкий являлись в этом непоколебимыми авторитетами, так что если нас что-либо на сцене не удовлетворяло, то и вся эта орава мрачно молчала, стоило же нам начать аплодировать и вызывать, как вся эта компания тоже шумела и орала. Впечатление получалось настолько внушительное, что почти весь театр обращал внимание

на этот ряд лож; в партере вставали с кресел и смотрели в бинокли на нас, а один раз после pas de deux в «Эсмеральде» великий князь Владимир Александрович послал к нам плац-адъютанта, дабы умерить наши восторги или предложить переместиться из театра в училище. Само собой разумеется, что М. Ф. Кшесинская совершенно случайно приобрела чуть ли не половину третьего яруса верных и даже чересчур усердных друзей. На этой почве некто Виноградов, как впоследствии оказалось, темная личность, аферист и клакёр, получавший даже определенную плату за «фабрикацию успеха», сыграл с нами подлую историю. Я и Савицкий познакомились с ним совершенно случайно на подъезде дома Кшесинской, где мы ожидали ее возвращения из театра, дабы просить записать на следующий спектакль ложи. Когда она передавала нам билеты, то оказалось, что ей удалось достать только две ложи, ибо остальные были записаны уже раньше на кого-то. Тут вмешался в разговор Виноградов и выразил желание уступить нам имеющуюся у него ложу в бенуаре, чему мы, натурально, обрадовались и тут же у него купили ее. После этого он в каждом балете в антрактах подходил к нам, мило заговаривал и даже заходил иногда в ложу. Перед прощальным бенефисом М. Ф. Виноградов был так любезен, что даже лично привез нам билеты в училище, за которые ему тут же было уплачено.

Матильда Кшесинская и Вера Трефилова в балете «Пробуждение Флоры». 1905 г.

6 февраля М.Ф. уезжала в Москву на один день для участия там в бенефисе Е. В. Гельцер. У меня и Савицкого явилась мысль поехать за ней, к нам присоединились еще несколько поклонников Кшесинской из молодежи, и мы, недолго думая, взяли и поехали. На Николаевском вокзале мы встретили Виноградова, который, как оказалось, также ехал в Москву и любезно пригласил нас в свое купе. Мы вернулись в кассу, попросили отметить на своих билетах места этого купе и поехали. В Москве мы узнали, что одна танцовщица, заклятый враг Кшесинской, приготовила целую компанию, долженствовавшую

устроить скандал Кшесинской и провалить ее pas de deux. Разумеется, что мы, то есть компания, приехавшая из Петербурга, приняли все возможные и даже невозможные меры к предотвращению этого, что после немалых усилий и стараний нам блистательно удалось. По приезде в СПБ меня глубоко поразило и смутило то, что Кшесинская, которая видела нас в Москве и даже, вероятно, знала о вышеупомянутой истории, не только не благодарила нас, как она постоянно очень мило и искренно это делала, но даже как-то холодно к нам отнеслась; ясно была умышленная перемена отношений с ее стороны.

Спустя две недели в театре знакомые балетоманы начали как-то странно относиться и загадочно улыбаться, видя нас гуляющими по фойе с Виноградовым. Я, конечно, ничего не подозревал и не обращал особого внимания, но когда начали ходить какие-то сплетни, то я начал кое-что понимать. Полученное на мое имя в училище анонимное письмо от «доброжелателя, лично попавшегося годом раньше на подобную же удочку», окончательно открыло мне глаза. Положение было действительно таково, что нужно было немедленно же вылезти из этой грязной и отвратительной истории и реабилитировать свое доброе имя в глазах М. Ф. Кшесинской, театральных знакомых и юнкеров. Картинка была такова, что мы оказались единомышленниками и ближайшими помощниками Виноградова и за водворение «партии» в 3-м ярусе получали бесплатно от Кшесинской, через Виноградова, ложи, все наши корзины и подношения Кшесинской были ею же втрое оплачены, вся поездка в Москву состоялась также на ее счет и т. п. В первый момент я пришел в такое отчаяние от подобной гадости, что хотел избить до полусмерти Виноградова, а Кшесинской написал ужаснейшее и страшно оскорбительное письмо, которое, к великому счастью, совершенно случайно не успел отправить. На следующий день в благотворительном спектакле в Мариинском театре мы все вчетвером (ездившие в Москву) потребовали у Виноградова объяснения, в течение которого на виду у всей публики на лестнице при входе в фойе 4-го яруса залепили ему 3 увесистых пощечины.

Через 2 дня мы втроем явились к Кшесинской, и я рассказал ей все происшедшее. У меня надолго в памяти останется этот разговор. Я в течение битых 2-х часов говорил не хуже Карабчевского и удивляюсь теперь, как у нее хватило терпения выслушать от меня все эти резкости и почти что оскорбления, которые я в порыве своего справедливого негодования наговорил ей. Кончилось тем, что мы довели ее до слез, и хотя она сама была окручена и хитро и умело обманута Виноградовым, но все

же искренно извинялась, жала нам руки и в конце концов заявила, что отныне мы ее лучшие друзья, которых она даже не в силах отблагодарить.

Так счастливо закончился инцидент, который чуть не испортил всю мою репутацию.

Жизнь в училище в этот период времени тоже вся как бы насыщается балетом и его отголосками. Появилась книга «Наш балет» Плещеева, которую я читал постоянно по ночам на дежурствах и чуть что не выучил наизусть.

С 1 февраля началась горячка в приготовлениях к прощальному бенефису М. Кшесинской. Мне пришла в голову мысль отблагодарить ее за милое к нам отношение и любезность в смысле доставания для нас мест и лож на спектакли. Я пустил подписной лист между юнкерами, конечно, исключительно знавшими ее и пользовавшимися этой ее любезностью. На собранные деньги решено было поднести хорошую корзину цветов с лентой. 3 февраля корзина, весьма внушительных размеров, была приобретена. На красной ленте, обвивающей ее, была надпись золотом «От юнкеров-константиновцев» и пришпилен погон училища, на задней стороне которого на серебряной доске были выгравированы наших 9 фамилий. 4-го, в день бенефиса, мы все были как-то нервно настроены и по окончании лекций, быстро одевшись, отправились с Савицким в нашу пивную, где, запершись в отдельном кабинете, стали придумывать, что бы выкинуть на бенефисе особенного, такого, чтобы доказало ей наше искреннее увлечение ее талантом и вместе с тем возвысило бы все приготовленные в ее честь овации. Наконец решили, собравши подходящую компанию, по окончании спектакля отпрячь у кареты лошадей и довезти ее до дому на руках, как это было уже сделано во времена оны с Вержинией Цукки и потом в бенефис В. Ф. Комиссаржевской.

Спектакль был действительно выдающийся. При появлении бенефициантки встречные аплодисменты не смолкали в течение 4-х минут, и Дриго тщетно поднимал палочку и опять опускал ее, покоряясь расшумевшейся публике. Каждая вариация была сплошным триумфом, и, наконец, во втором антракте подняли занавес для публичного чествования. Сцена представлялась настоящим садом живых цветов, ибо стояло, как говорили, 86 корзин живых и искусственных цветов, поднесенных от публики. Посредине стоял длинный стол, уставленный сплошь футлярами и ящиками с драгоценными подарками, и, наконец, более 300 человек чествующих с депутатами от всех трупп Петербурга, Москвы и даже западноевропейс<ких> городов. Чествование продолжалось более часа. Читали бесконечное количество

адресов, стихотворений, посвящений и речей, подносили венки, целовались, плакали и смеялись. Говорили М. Петипа, Гердт, Дриго, Морозов, Тартаков, Потоцкая, Балетта, Гельцер, Южин, Карпов, Кугель, Плещеев, Абаза, Кауфман и пр. и пр. Наконец взвился занавес, и в оркестре полилась «Лебединая песня» Чайковского. Среди публики были такие, которые буквально плакали, и среди действия не раз раздавались восклицания в разных местах театра: «Не уходите!». Это было поистине торжественное и трогательное зрелище.

Что делалось потом на артистическом подъезде — не поддается никакому описанию. Это была настоящая «ходынка». Мы при появлении Кшесинской моментально окружили ее железным, в восемь звеньев, кольцом, и только таким образом ее не задавили поклонники. Несколько раз в течение адски медленного движения от выхода из уборных до кареты мы чуть что не шашками защищали ее от этой толпы в 300–400 человек, икогда усадили в карету и приставили почетный караул к каждой дверце, то, несмотря на сопротивление конной полиции, в один момент согнали с козел кучера и выпрягли лошадей. Затем началось триумфальное шествие вокруг театра и по Офицерской. Я все время шел около открытого окна с правой стороны, помогая двигать карету за ручку, и разговаривал с Кшесинской, которая была страшно взволнована и тронута такой неслыханной овацией. В середине Офицерской, пройдя тюремный замок, главная масса везущих, состоявшая из людей всех возрастов и положений (тут были и убеленные сединами старцы, почтенные чиновники, пажи, юнкера, офицеры и учащаяся молодежь), решила, что балерина может простудиться, долго находясь в карете с открытыми окнами, и потому перешли для скорости с шага на рысь и наконец на галоп. Трудно описать эту картину. Это было какое-то небывалое публичное движение, ибо карета, везомая людьми, составляла центр громадной толпы экипажей, карет и извозчиков и целых потоков пешеходов, двигавшихся по обоим тротуарам и сзади. Вся эта толпа махала шапками, платками, зонтиками и приветствовала бенефициантку.

Когда мы привезли карету к дому, то на Английском проспекте уже ожидала порядочная толпа народу и стоял наряд полиции. Расчистивши проход от дверцы кареты до входа в подъезд, отворили карету и провели Кшесинскую, которая вся в слезах жала руки направо и налево и благодарила за такую честь, которой, как она говорила, она не стоила. Долго еще потом толпа не расходилась, аплодируя и вызывая ее у окна, в котором она показывалась несколько раз и раскланивалась.

Матильда Кшесинская в балете «Дочь Фараона».

«Я считаю петербургский балет первым в мире именно потому, что в нем сохранилось то серьезное искусство, которое было утрачено за границей».

(Мариус Петипа)

Мы явились в училище во втором часу ночи и почти до утра не раздевались, обмениваясь впечатлениями, сидя на сундуках и распивая чай. На следующий день я проспал на всех лекциях и даже ухитрился на строевых занятиях задремать в строю и чуть не

слетел с лошади.

5-го числа лекций не было, ибо начинались экзамены и шла подготовка. Юнкера разбредались по всему училищу и лениво читали лекции и записки по артиллерии, ибо подготовки было 10 дней, из коих 5 дней отпускных ввиду Масленицы. Я и Савицкий забрались в самый конец столовой и, усевшись между двух орудий за маленьким столом, больше курили и разговаривали, чем читали записки по артиллерии. Около 11 часов принесли почту, я пошел вниз за письмами и газетами и, придя обратно, стал просматривать «Петербургскую газету» и случайно увидел заметку, сообщавшую, что сегодня М. Ф. Кшесинская уезжает на один день в Москву для участия в бенефисе Е. В. Гельцер, и показал Савицкому.

Он прочел, и мы молча, посмотревши друг на друга, угадали нашу общую мысль, и, что оригинальнее всего, даже не сказав ее вслух, стали просто обдумывать, как достать нужную для этого сумму денег, ибо за последние дни сильно поиздержались и сидели без финансов. После часового обсуждения мы кое-что придумали и, одевшись быстро по окончании строевых занятий, сели на извозчика и поехали к Соловьеву, Крауту, Державину и другим нашим поставщикам. К 6-ти часам сумма была в кармане, и мы, пообедавши у меня дома, поехали на Николаевский вокзал и взяли билеты 2-го класса до Москвы. На дебаркадере мы встретили Виноградова, Выходцева, Балабанова и других поклонников М.Ф., явившихся ее провожать. Выходцев сообщил мне, что он, Виноградов и Балабанов едут, и просил не говорить об этом остальным. В 8 часов, с последним звонком, мы пятеро вскочили в вагон и, послав остальным воздушные поцелуи, уехали. М.Ф. должна была отправиться идущим следом за нами курьерским поездом.

Это была одна из веселых поездок в моей жизни. В Любани мы «сильно поужинали» и долго играли в вагоне, в отдельном купе, в стуколку. На больших станциях в Бологом и Твери посылали телеграммы в следом идущий поезд с пожеланием всяких благ и благополучного пути. Мы прибыли в Москву на 45 минут раньше курьерского поезда и успели съездить в цветочный магазин, приобрели большой букет сирени и гвоздики и встретили М.Ф. на вокзале. Затем, позавтракав в кафе Филиппова на Тверской, сняли номер в гостинице «Кремль» на Александровском проезде, осмотрели достопримечательности Кремля, были в Третьяковской картинной галерее, пообедали у себя в номере, опять сильно выпив за успех предстоящей гастроли, и вечером, заплативши барышнику 36 рублей за довольно скверную ложу 2-го яруса, явились в театр, заказавши

предварительно корзину живых цветов и вложивши в нее конверт со своими визитными карточками. В партере было человек 20–30 петербургских балетоманов, приехавших вместе с М.Ф. По окончании ее вставного pas de deux мы не сочли нужным досматривать «Баядерку» с Е. В. Гельцер, демонстративно вышли посреди действия из ложи, хлопнув дверью, и вышли на артистический подъезд. Встретив на подъезде М.Ф., устроили ей маленькую дружескую овацию и отправились с ней одновременно прямо на вокзал, причем я с Выходцевым ехали на рысаке, которого так гнали, что лошадь чуть не пала, и все же перегнали гельцеровских рысаков с каретой, в которой ехала М.Ф., и подъехали первыми к вокзалу. Я помню, как меня тронуло и привело в восторг то, что, несмотря на массу цветочных подношений, она, уезжая, все время держала и время от времени нюхала пачку гвоздик и сирени из нашего утреннего букета. Савицкий, у которого был срочный билет, уехал с ней в одном поезде, а мы четверо остались в Москве до другого дня с целью посмотреть идущего на другой день утром «Конька-Горбунка» с ныне покойной Л. А. Рославлевой. Печальные и грустные, молчаливо вернулись мы в свой номер и за ужином напились. На другой день, купивши 4 кресла, отправились на «Конька». Мне понравилась грандиозная московская постановка этого балета, который у нас идет гораздо проще и в сильно сокращенном виде.

В одном из антрактов Е. Балабанов познакомил меня с Л. Г. Кякшт, хорошенькой молодой московской танцовщицей. (…)

В воскресенье, 8-го, прямо с поезда, мы только успели позавтракать в кофейной и поехали прямо в Мариинский театр, где в закрытие спектаклей перед Великим постом шла утром «Коппелия» с Трефиловой. После «Коппелии» я дома ел блины и за обедом рассказывал домашним и гостям о своей поездке в Москву, а вечером явился в училище и, ни слова не говоря с Савицким (мы с ним повздорили в Москве по поводу его раннего отъезда), улегся спать, а на другой день начался Великий пост, ужасная скука, однообразная подготовка к экзаменам, а в голове сумбур воспоминаний о прошедшей столь удачно Масленице. Это было самое скучное время в училище, да и вообще в Петербурге… Ни театров, ни вечеров, отвратительная погода и бесконечно тянущиеся экзамены, которых было 18 штук, причем каждый требовал подготовки и прочтения от 400 до 1000 страниц отвратительно налитографированных, подчас неразборчивых записок. Я довольно долго не мог войти в эту колею. Как раз в воскресенье на 2-й неделе произошло полное разъяснение этой скверной истории с Виноградовым, и только после этого памятного разговора с Кшесинской, описанного раньше, я вполне

успокоился и стал с яростью проглатывать ни к черту непригодные в жизни теории тактики и фортификационных укреплений.

Экзамены постепенно сходили, я на всех и особенно на математических получил очень высокие баллы. Отпускные дни я почти целиком проводил разъезжая от одной балетной артистки к другой, начал собирать коллекцию карт-посталей с фотографиями танцовщиц и карточки с их собственноручными подписями. За это время я познакомился и стал бывать у В. А. Трефиловой, Т. П. Карсавиной, Л. А. Борхард и других. А. П. Павлову я тогда очень недолюбливал и, сам не знаю почему, принимал даже деятельное участие в разных семейно-театральных демонстрациях, направленных против нее. Она, как мне казалось, держала себя чересчур высокомерно и недоступно, и вся наша «партия молодых кшесинистов» ее не любила. Я помню, как, сидя раз на галерее на своем 46-м номере в самом центре целой массы поклонников Кшесинской, мы все после прекрасной вариации Павловой сидели, скрестив руки на груди и презрительно оборачиваясь на кучку аплодировавших ей студентов. Когда, несмотря на наше молчание, она по требованью части публики повторила свою вариацию, то мы выходили курить, а потом, чтобы только ей насолить, адски аплодировали и вызывали очень скверно исполнившую после нее свою вариацию г-жу Рыхлякову 1-ю, дабы сравнять ее в смысле успеха с Павловой и этим ее, последнюю, унизить. Вообще теперешний Мариинский театр и прежний сильно разнятся. Партийность, оставшаяся теперь в самом слабом виде, в эти описываемые годы была еще очень сильна. Опытный глаз постоянного посетителя балета знал и видел прямо, где кто сидит. В особенности галерея делилась на строго определенные части, в которых восседали «кшесинисты», «преображенцы», «павловцы», «трефилисты» (или, как их в шутку называли, «трефилитики»), и все эти партии в большинстве случаев враждовали между собой, и каждая старалась напакостить враждебной ей. Какая была ядовитая и злостная радость «трефилитиков», когда А. П. Павлова в 3-м акте «Фараона» поскользнулась и упала… Партия, к которой принадлежал в 1904 году я, была самая обширная и имела своих единомышленников как в партере, так и во всех ярусах. Мы никогда не боялись за успех своей вдохновительницы и постоянно презрительно высмеивали другие малочисленные партии.

Эта партийность была все же выражением любви и преданности массы молодежи, искренно увлекавшейся искусством и не входившей ни в какие расчеты и никогда не переходившей на личности и жизнь артистов вне сцены, и,

конечно, не имела ничего общего с клаками, которые в эти годы были сильно развиты и функционировали обыкновенно на верхах театра.

Матильда Кшесинская в Белом зале своего особняка. Февраль 1916 г.

Кшесинская, в силу своего высокого положения на сцене и, главным образом, еще более высокого вне сцены, в жизни, несмотря на массу таких преданных, как мы, поклонников, имела еще больше врагов, которые, совершенно не будучи заинтересованы в ее искусстве и не вдаваясь вовсе в критику его, чисто на личной почве устраивали ей крупные скандалы. Некоторые из них были еще в корне задавлены нашей партией, некоторые же достигали желаемого результата, и, вероятно, в силу этого у нее был подобный Виноградов, который, как я впоследствии узнал, получал от нее жалованье и подарки, за что должен был препятствовать этим неуместным личным счетам, сводимым в театре во время спектакля. Он получал обыкновенно 20–30 мест на верхах галереи от Кшесинской и раздавал их каким-то подозрительным личностям, которые по его сигналу своими аплодисментами и ревом заглушали гиканье и свист врагов М.Ф. В подобных историях нередко выходили самые юмористические «кипроко». Однажды во время вариации Кшесинской в 4-й картине «Конька», при полнейшей тишине в

театре, сверху раздалось громкое восклицание: «Браво, Ауэр!», произнесенное во всеуслышанье заклятыми врагами Кшесинской братьями А. и Н. С-ми. В ответ на это Виноградов громко же возразил: «С-ов — болван!», на что последовало еще громче: «Виноградов — осел!» — после чего оба при помощи помощника пристава были удалены. (…)

На 4-й неделе поста мне пришлось познакомиться с А. П. Павловой, переменить совершенно о ней мнение, стать самым преданным ее поклонником и другом. Это вышло очень просто. Как-то после завтрака, на котором я и Савицкий отдали особенную честь Бахусу, мы решили, дабы для полноты коллекции иметь и портрет с подписью Павловой, купить карточки и прямо отправиться к ней. Это было довольно нахально — входить в дом к женщине, не будучи знакомым и чувствуя, что она знает нас как поклонников и приверженцев Кшесинской и ее врагов, но, тем не менее, мы купили по две довольно скверных и неудачных ее фотографии и приехали на Свечной пер., д. № 1. Швейцар доложил, что «барыня дома-с», и мы с порядочным апломбом вошли в гостиную, где уже сидел, впрочем, скоро ушедший, какой-то господин. Мы представились и заявили, что просим к этим карточкам приложить руку. Она, против ожидания, приняла нас более чем любезно, была все время очень мила и вдобавок к этим карточкам прибавила еще по одной роскошной и очень удачной фотографии. После получасового разговора я уже с удивлением смотрел и слушал эту любезную, умную и прямо-таки прелестную женщину. Мы просидели у нее битых два часа, и я ушел совершенно очарованный. Только здесь, в ее домашней обстановке, я понял, что сильно ошибался в определении ее личности, и только тут рассмотрел, как интересна, до редкости интересна и оригинальна эта женщина. Потом, в весеннем сезоне, я внимательно рассмотрел ее на сцене и точно так же понял, что ужасно заблуждался, а когда 2 мая она первый раз выступила в роли Пахиты, я понял, что это выдающийся молодой талант нашей сцены, стал постепенно делаться все больше и больше ее поклонником и чаще и чаще бывал у нее. Кончил тем, что окончательно влюбился в нее и как в женщину, и как в артистку. В следующем сезоне, смотря в «Жизели» ее мимику и игру сквозь свой 12-дюймовый бинокль «Браунинг», я прямо поражался, как мог я раньше не заметить этой звезды 1-й величины, и сожалел своему отчасти навеянному партийностью галерки ослеплению. Этот мой переход (собственно, перехода не было, но, признавая Кшесинскую, я стал признавать и Павлову) все же поразил и удивил господ «павловистов», долго смотревших на это с недоверием и опаскою. Вскоре я с Павловой стали большими

друзьями, она часто мне писала, и отношения эти продолжаются и посейчас.

На 6-й неделе состоялся ежегодный экзаменационный спектакль балетного отделения Театрального училища. Я и Савицкий (мы помирились с ним, будучи оба в восторженном состоянии после объяснения с Кшесинской) с большим трудом попали на этот спектакль. Из всех экзаменовавшихся мне ни одна танцовщица не понравилась. Среди публики же в одном из антрактов я и Савицкий все время ходили за тремя барышнями, интересными и весьма скромно одетыми. Одна из них, в черном платье, в трауре, особенно почему-то мне нравилась, и я дал себе зарок во что бы то ни стало познакомиться с ней. Это оказалась танцовщица Е. Д. Полякова, она носила траур по смерти отца. Та же, которая привлекла Савицкого, была Л. Ц. Пуни. Эти две и В. М. Петипа 3-я все время вместе ходили и сидели в одной ложе и оказались тремя закадычными подругами, которые держались в труппе несколько отдельно от всех. Следующий антракт я, выходя из ложи М. Кшесинской, встретился глазами с Поляковой, и почему-то долго друг на друга смотрели в упор. Тут она мне еще больше понравилась, и я решил познакомиться и ухаживать.

На 7-й неделе мы стали ходить в церковь Театрального училища, но, конечно, отнюдь не с целью говеть и молиться, а главным образом потому, что большинство танцовщиц там говели. В страстной четверг я после немалых трудов протискался поближе к «триумвирату» (Полякова, Петипа и Пуни) и в течение всей службы не сводил с них глаз. Она, по-видимому, усердно и благочестиво молилась, следя по книжке за читаемыми 12-ю Евангелиями, и когда несколько раз невольно, как будто под действием магнетизма, отрывалась от книги и встречалась со мной глазами, то, как мне показалось, смущалась и опускала глаза. Эта игра продолжалась довольно долго, и когда, наконец, в перерыве она потушила свечу и стала в упор смотреть на меня, то тут уже я не выдержал и опустил глаза. Сколько мне помнится, из всей этой службы я не расслышал буквально ни единого слова священника, и весь мундир мой оказался потом закапанным воском. Савицкому повезло меньше, и Пуни, один раз презрительно на него посмотревши, демонстративно повернулась.

Впоследствии мне удалось с Поляковой познакомиться, я стал довольно часто бывать у нее, ухаживал, подносил цветы, конфеты и пр., но потом появился бывший в провинции ее жених, и все понемножку расстроилось.

Страстная неделя в Театральном училище — поистине весьма веселое время, особенно заутреня под Пасху. Здесь обыкновенно набирается огромное количество публики, так что заполняются

вся церковь, коридор, обе танцевальные залы и даже часть дортуаров мужского балетного отделения. Самая веселая компания собирается в танцевальных залах, куда не достигает ни один звук богослужения. Здесь все время идет болтовня, которая прерывается около 12 часов крестным ходом, за которым все со свечами весело идут по училищу, и, наконец, кто-нибудь восклицает, что «уже воскрес», и тогда начинается христосованье, обыкновенно сопровождающееся тем, что артистки отказываются целоваться и удирают, но их ловят где-нибудь в углу коридора и танцевальной залы и все-таки целуют, да не 3, а 10 раз.

В первый день Пасхи я с утра, облекшись в новый мундир, разъезжал с визитами ко всем танцовщицам и опять убеждал христосоваться, что иногда и удавалось.

М. Ф. Кшесинская всем нам подарила по очень хорошей большого формата своей фотографии с трогательными надписями. После Пасхи в воскресенье открылись снова спектакли, на которые мы кинулись как голодные волки, впрочем, их было всего 6. Почти после каждого из этих весенних спектаклей 1904 года составлялась довольно большая компания преимущественно из нашей молодежи и балетных артистов и устраивались весьма веселые ужины. Это были довольно безобразные оргии, на которых во славу дорогого хореографического искусства выпивалось колоссальное количество водок и вин. Но особенно памятен был последний и самый большой ужин, состоявшийся после закрытия сезона. Это было задумано еще за неделю, и собирались по подписке деньги на осуществление. Так как моя родня уехала уже на дачу в Павловск, то я предложил для этого свою обширную, но пустую квартиру. Впрочем, были взяты напрокат столы, стулья, ковры, посуда, пианино, мебель и все необходимое. Предстояло «дело под Полтавой», ибо одних водок и крепких вин было куплено на 72 рубля. Квартира наша была на самой площади Мариинского театра, что было особенно удобно. Я как хозяин и инициатор этого дела был с головы до ног в заботах последние 3 дня. Наконец по окончании последнего в сезоне балета («Конек» с Седовой) вся ватага участвующих и многие приглашенные артисты, переправившись через площадь, наполнили квартиру, и началось такое пьянство, какого я не запомню подобного в жизни. По строго заведенному правилу все ужины наши начинались с тостов, следующих в определенном порядке, как-то: за Мариуса Петипа (по одной рюмке), за М. Ф. Кшесинскую (по три рюмки), за Преображескую, Петипа I, Павлову, Трефилову, всех солисток и т. д. В этом ужине мы дошли до последних корифеек (а если принять во внимание, что всех артисток балетной труппы около

70, то дойти до корифеек — это действительно нечто колоссальное). Таким образом в течение первого получаса ужина было уничтожено с лица земли 3 четвертных водки. (Нас было 23 человека.) Что было дальше, трудно описать, более веселого ужина я не помню во всю жизнь, и хотя публика и была вся без исключения здорово пьяна, но все же после пломбира и шампанского танцевали, пели и выкидывали такие номера, что остальная часть зрителей валялась на полу от хохота. Я, Мурашко и Балабанов в течение всего вечера играли попеременно на рояле исключительно балетную музыку. Около 3-х часов утра трое из компании, найдя, что необходимо разбавить мужской элемент присутствующих дамским обществом, отправились в буфф и привезли оттуда трех очень интересных и прелестно одетых кокоток. Это еще более придало веселья вечеринке, и она продолжалась благополучно до $8^1/_2$ часов утра, когда, ко всеобщему удовольствию, во время жженки нашли одного танцовщика заснувшим, сидя на блюде с пломбиром, а Савицкий с другим пошли гулять по площади в костюмах Адама. В 10-м часу утра многие остались у меня «почивать», и все мы располагались по квартире самым живописным образом, причем я проснулся около 2-х часов под пианино, а под головой у меня вместо подушки был большой кусок телятины; но когда я пошел будить остальных, то хохотал как сумасшедший, ибо те остальные 6–8 человек спали в еще более карикатурных положениях. Я почему-то сел за письменный стол и написал А. Павловой самого отчаянно любовного характера письмо и отправил немедленно с посыльным. Около 3-х часов мы вымылись, вычистились, выпили по рюмке водки для опохмёля, и я отправился на Варшавский вокзал провожать Павлову, ибо она уезжала за границу. Она, когда я поздоровался, долго смотрела на меня как на рехнувшегося и потом стала упрашивать, чтобы я не делал глупостей, не пьянствовал, писал бы ей, и обещала часто мне писать, поцеловала меня в лоб и уехала. (…)

Петр Николаевич Владимиров (1893–1970) — выдающийся балетный танцовщик. Учился в императорской театральной школе в Санкт-Петербурге (педагоги: Сергей Легат, Михаил Обухов, Михаил Фокин). Его называли «Любимый танцовщик Царя»…

Ходили самые разнообразные слухи и утки о том, что производство будет раньше обыкновенного срока, то есть 10 авг<уста>, и когда, бывало, на стрельбе к командиру батареи подъезжал с приказаниями адъютант великого князя, то у всех

замирали сердца, что вот-вот сейчас объявят, что завтра производство. В последних числах июля назначена была разборка ваканций. Это интересная и характерная сторона юнкерской жизни. Тут лучшие друзья делаются иногда врагами, и борьба за ваканции бывает отчаянная. Я с самого начала решил брать самое ближайшее к Петербургу, без различия, будет ли это конная, пешая или крепостная артиллерия. По баллам я стоял очень высоко, почти в начале списка, и потому был более других спокоен. 28 июля была разборка, и я, к большому удивлению начальства, взял Кронштадтскую крепостную артиллерию.

Дело в том, что крепость почему-то считается худшей ваканцией, и последние по списку даже обязаны выходить в крепости. Я же имел право брать полевую артиллерию, но так как все имеющиеся полевые более удалены от Петербурга, то и взял Кронштадт. (Это была единственная ваканция.) В этот же день я и Савицкий поехали в Стрельну к Кшесинской и там завтракали и просидели часа 3, очень мило провели время. О.Е. снимала нас из фотографического аппарата во всевозможных видах, и в заключение мы с Кшесинской снялись, почти обнявшись, на одном кресле, я сидел на ручке кресла, обняв ее за талию, а Савицкий расположился около ног на ковре. Потом приехал на велосипеде в<еликий> к<нязь> Андрей Владимирович, и мы продолжали так же непринужденно болтать. 8 августа был последний спектакль в Красносельском театре, где я спас утопающую в ужасных лужах (был проливной дождь) Ю. Н. Седову и доставил ее на вокзал. На другой день 9 августа мы с утра в конном строю выехали на большое Красносельское поле, где был парад по случаю окончания лагерного сбора. Огромные массы войск проходили церемониальным маршем мимо царской палатки. Проехали и мы. Все это тянулось нестерпимо долго. Наконец около 2-х часов дня всех кончающих юнкеров собрали, нас спешили и в пешем строю составили в большое каре. В середину въехал Император на вороном жеребце и, медленно подвигаясь по сторонам каре, говорил по несколько слов с каждым юнкером, спрашивал, куда выходит, есть ли родители и где живут. Дошла очередь и до меня, я ответил, что выхожу в Кронштадт, что мать живет в Петербурге. «Ну, значит, не далеко от дому», — сказал Император. Потом, сказав еще несколько слов выходящим в действующую армию на Дальний Восток, он выехал на середину каре и громко сказал: «Поздравляю Вас, господа, с первым офицерским чином!». Раздалось ура, оркестр сыграл гимн, и мы все, кто бегом, кто верхом, побросавши орудия и зарядные ящики, бросились в лагерь и со свернутым в трубку и подложенным под погон приказом о

производстве, быстро переодевшись, в самых оригинальных полуюнкерских, полуофицерских формах бросились на поезд — и в Петербург. На вокзале в ожидании поезда громадная толпа стояла у буфета и первый раз в жизни официально и не тайком поглощала водку и вина. Около 6 часов вечера я переоделся у своего портного Соловьева в новенькую офицерскую форму и, усевшись на лихача, поехал вместе с Ерогиным обедать в ресторан Палкина. Полякова взяла с меня слово, что я не буду напиваться в первый день производства, что я и исполнил, выпив за обедом всего 3 рюмки водки. Вечером я поехал в Павловск на музыку, встретил там Полякову, болтал с ней весь вечер и, проводив на поезд, пошел домой и первый раз в жизни лег спать счастливый и полный самых радужных мыслей о своей предстоящей жизни.

Часть вторая
Годы службы в Кронштадте и театральные увлечения

В ноябре 1904 года я пришел к логическому выводу, что абонемент на балетные спектакли в креслах (особенно в 8-м ряду, где я был абонирован) в высшей степени неудобен и невыгоден. У меня еще значительно раньше, в бытность юнкером, созрела благая мысль абонировать в компании нескольких человек ложу 2-го или 3-го яруса (о бенуаре, как о невозможном, я даже и не мечтал). В этот же ноябрь, благодаря любезности М. Ф. Кшесинской, я получил право на абонемент лучшей ложи в бенуаре № 10. (Ложа эта принадлежала лично Кшесинской, и она передала право абонировать ее мне.) Я принял этот абонемент как нечто святое и ценное (на эту ложу уже в течение нескольких лет точили зубы весьма многие) и, собрав компанию в 6 человек, абонировал ее в начале декабря 1904 года.

Мариинский театр в смысле абонементов и продажных билетов представляет при более глубоком рассмотрении весьма оригинальное явление. Балет в России издавна имеет довольно большой круг своих поклонников и любителей-фанатиков, которые не пропускают ни одного спектакля годами и десятками лет. Таким образом, первые ряды кресел и лучшие ложи, а также большинство мест галереи из году в год абонируются одними и теми же лицами, причем круг этих лиц с каждым годом заметно расширяется. Когда я стал постоянным посетителем балета, постоянными абонентами было заполнено около 5 первых рядов кресел и штук 20 лож, теперь же (в 1907 году) абонировано уже 12 рядов кресел и из остальных рядов $^1/_3$ всех кресел, а лож поступает в продажу только 16 шт<ук> (следовательно, абонированных около 80 штук). Благодаря этому обыкновенному смертному попасть в балет с каждым годом становится труднее и труднее, и недолго ждать того времени, когда буквально все места в театре будут абонированы постоянными абонентами, и балет как театральное представление сделается достоянием постоянно одних и тех же 2000–3000 счастливцев. Что же касается передачи при жизни или освобождения за смертью кресел, особенно первых рядов, то это составляет целое событие в нашем театральном мирке.

В первом ряду заседают 24 маститых балетомана, так сказать, старейшины и профессора в своем роде. Они своих мест никогда не меняют и сидят на них «не одну земскую давность». Так,

скончавшийся 7 мая 1906 года К. А. Скальковский просидел на своем № 16 всего-навсего 41 год, а ныне здравствующий Н. М. Безобразов насчитывает 39 лет своего сидения на кресле № 19. Когда умирают такие старые театралы, то захват и владение их абонементом подымает шум не только в нашем мирке, но и во всем городе и даже в прессе. Когда в 1905 году скончался почт-директор Чаплин, просидевший в балете в 1 ряду 28 лет, то из<-за> его кресла в кабинете директора театров чуть не дошло дело до драки. Предполагалось одно время разыграть его в лотерею между десятком претендентов, но в конце концов оно досталось (не совсем справедливо) морскому министру, вице-адмиралу А. Бирилеву. После этого случая открыта была запись кандидатов на освобождающиеся кресла первого ряда, и я в этой записи, находящейся в конторе Императ<орских> театров, вот уже 2 года как состою 143-м кандидатом, и если не случай, то, даже проживши еще 50 лет, не достигну до 1-го ряда. Большинство обладателей этих ценных абонементов включают владение их и переход в наследство в свои духовные завещания (что они ценны даже не в переносном смысле слова, может служить доказательством то, что нередко за передачу такого абонемента предлагали премию до 10 000 рублей).

Матильда Кшесинская дает урок любимой ученице Татьяне

Рябушинской. Париж. Студия Матильды Кшесинской. Париж.1930-е гг.

Что же касается продажи неабонированных кресел и лож, то они в большинстве попадают в руки опытных барышников, которые сплошь и рядом перепродают их в день спектакля в 3, 4, 5 и 6 раз, а иногда и более, дороже. На моих глазах ложа бельэтажа на прощальный бенефис М. Кшесинской, стоящая номинально 22 рубля 80 копеек, была продана за 165 рублей! Барышничество театральными билетами в Петербурге уже зло давнишнее и в своем возникновении теряется в последних годах XVIII столетия, когда, по описаниям наших театральных историков, «некие подлые посадские люди перепродавали в темных углах Крюковской площади театральные билеты с наживой на оные тройной их цены». В 70-х годах театральное барышничество (особенно Мариинского театра) постепенно сконцентрировалось в руках одного крупного барышника Н. И. Королькова, который за 30 лет этой своей «общественной деятельности» составил себе солидное состояние. Весьма интересная его история и целый ряд анекдотов и инцидентов и посейчас еще ходят среди театралов, в особенности балетоманов. Этот Корольков последние годы своей деятельности сам никогда не покупал и не продавал на площади билетов. Это исполнялось целой бандой его «служащих», которых ввиду сильного преследования полиции он постоянно, и иногда даже ежедневно, менял, прибегая к помощи бараков, что против Андреевского рынка, где ежедневно собирается до тысячи прислуги и рабочих, ищущих занятий. Они нанимались им за «разовую плату», становились с вечера в хвосты перед кассами и приобретали билеты на лучшие и дорогие места театра. Корольков был знаток своего дела, прекрасно изучил вкусы нашей театральной публики, скупал билеты весьма обдуманно и редко попадал впросак. Обороты его достигали громадных пределов, иногда у него в руках бывала половина всех мест в театре. Агенты, приобретавшие билеты, получали смотря по важности спектакля от 20 копеек до 1 рубля за каждый купленный билет, а Корольков наживал иногда по 1500 рублей за вечер. Гастроли Цукки, Леньяни и Брианцы были праздниками для Королькова.

На прощальных бенефисах Цукки и Леньяни получили прекрасные и дорогие подарки с подписью «От благодарного Н. И. Королькова!». Говорят, что и М. Кшесинская имеет громадный и дорогой серебряный альбом с такой же надписью… Благодаря Королькову явилась специальная статья о театральном барышничестве в законах. Покойный градоначальник Грессер

издал указ о штрафах за уличение в театральном барышничестве первый раз 500 рублей, второй раз 1000 рублей, третий раз 3000 рублей, а потом высылка административно из пределов столицы. Корольков был, конечно, известен полиции; его фотографические карточки имелись даже в сыскном отделении, но при уличении он аккуратно уплачивал вышеозначенные штрафы до 3000 рублей (это показывает, насколько выгодно было его дело). И наконец был административно выслан из Петербурга. Он купил себе прекрасную дачу на Поклонной горе (по Неве близ Шлиссельбурга) и продолжал свои дела. (Административно высланные имеют по закону право бывать проездом не свыше суток в столице… ему и этого было много — достаточно было быть с 2 часов до 8 вечера.)

На особенно выдающихся спектаклях и бенефисах билеты продавались не агентами на площади, а лично Корольковым в его постоянной резиденции, трактире «Углич» на Никольской площади, где он восседал за самоваром в отдельном кабинете на «чистой половине». К этому грязному извозчичьему трактиру в дни таких спектаклей подъезжали нередко вереницы изящных ландо и одиночек. Это была форменная вторая касса Мариинского театра с той разницей, что билеты продавались «по особо возвышенным ценам». Само собой разумеется, что полиция знала и об этом притоне, но существует интересная история сближения и дружбы Королькова с полицией и даже высшими слоями тогдашней администрации. Однажды в день бенефиса Пьерины Леньяни, около трех часов дня, министр внутренних дел послал своего камердинера приобрести на вечер ложу, который, конечно, ничего в кассе не достав, вернулся. Министр звонил по телефону в контору Императорских театров с просьбой достать для него с семейством ложу. Чиновник, удостоверившись, что все казенные и имеющиеся в распоряжении дирекции ложи уже заблаговременно розданы и проданы, не нашел ничего лучше, как передать в виде приказания директора достать ложу полицмейстеру театра. Покойный полковник Лаппа-Старженецкий бегал, высунув язык, из кассы в кассу и тоже ничего не достал. Как в подобных случаях всегда бывает, паника и страх не угодить начальству переходили постепенно со старших чинов на младших. В 6 часов вечера дежурный пристав, три его помощника со всем синклитом околоточных и городовых предпринимали все возможные и невозможные меры, дабы достать для министра ложу. В 7 часов собрался в кабинете полицмейстера военный совет, что далее предпринять, ибо отказать министру считалось совершенно невозможным. Наконец пришли к единственному возможному случаю — послать к

Королькову. Посланный околоточный, вернувшись через 10 минут из «Углича», заявил, что Корольков, хотя и имеет нужную ложу, не желает продавать ее хотя бы даже за тысячу рублей. Все собрание было в отчаянии, и наконец старший пристав и полицмейстер театра отправились самолично с просьбой к Королькову «выручить». Корольков догадался, в чем суть, и, поняв свою силу в этот момент, сумел ее использовать прямо гениально. Продержав полковников несколько минут в грязной половине трактира в ожидании, когда соблаговолит принять, после долгих упрашиваний с величанием «уважаемым Николаем Ивановичем» и с пожатием его рук согласился отдать ложу с условием лично передать ее министру. Подкатив на своем рысаке к квартире министра около 8 часов, он попросил личного свидания, в котором, объяснив министру, что ни одного места в театре достать немыслимо, просил разрешения преподнести его семейству собственную ложу, почтя за счастье уступить ее ему, и наотрез отказался взять деньги. Министр искренно его благодарил и положительно не знал, как отплатить этому, судя по всему, простому и неинтеллигентному человеку. Корольков, оставив свою визитную карточку и распрощавшись дружески с министром, уехал. С тех пор на долгое время полиция относилась к нему весьма почтительно и отнюдь не преследовала. Барышничество это иногда сильно походило на биржевую игру со всеми ее повышениями и понижениями. Так, однажды Корольков потерпел чистого убытку в один вечер около 4000 рублей. (Это был бенефис Э. Ф. Направника, когда в один день заболели и были заменены Н.Н. и М. И. Фигнер — у Королькова осталось на руках более 800 билетов.) Говорят, что Корольков скопил на барышничестве около 600 000 рублей капитала. После его смерти, последовавшей в конце 1905 года, дело это распалось и теперь находится в руках единичных барышников и маленьких банд, кормильцами которых являются Ф. Шаляпин и М. Кшесинская. С увеличением количества постоянных абонентов барышничество постепенно уменьшает круг своей деятельности, а с абонированием всего театра, очевидно, и совершенно пропадет. (…)

В конце января 1905 года я, взяв 100 рублей из офицерского заемного капитала, отправился в Москву на бенефис г-жи Гримальди. 28 января в 8 часов вечера я и Савицкий скорым поездом выехали вслед за М. Кшесинской, уехавшей накануне. 29-го утром приехали и остановились в гостинице на Петровке. Оба мы удрали из Кронштадта без отпускных билетов и в душе сами удивлялись этой смелости. Днем мы явились в театр и, по просьбе Кшесинской и благодаря редкой любезности тамошнего

полицмейстера подполковника Переяславцева, водворились на генеральной репетиции во 2-м ряду кресел. В креслах же с нами сидели Е. В. Гельцер, Ю. Н. Седова и другие артисты московского балета. После репетиции отправились в гостиницу к Ю. Н. Седовой, пили там чай и зубоскалили о петербургских театральных новостях часа 2. Она показала нам свою годовалую дочь, которая на руках у няньки показывала, «как мама в «Коньке-Горбунке» танцует и как посылает воздушные поцелуи при аплодисментах». Оттуда поехали к Кшесинской обедать, где просидели до вечера. Вечером толкались по Тверской, попали в театр «Эрмитаж» на какой-то весьма пикантный фарс и, поужинав по традиции у Тестова, поехали мирно домой спать. 30-го, накупив в театральной фотографии карточек, пошли осматривать Исторический музей, катались по Кузнецкому мосту, обедали у Тестова, пили чай у Кшесинской и вечером приехали в балет. Мне везет 3-й раз по приезде в Москву попадать на «Баядерку». Гримальди встречали не особенно восторженно, но все же тепло. «Фиаметта» с Кшесинской была рядом восторгов, и все solo покрывались бурей аплодисментов. Само собой, мы послали от себя корзину цветов на сцену. В последнем антракте отворилась дверь, и в ложе появился… Денисьев, случайно бывший в театре и увидевший нас из партера. Это было поистине несчастье, ибо окончилось неслыханным пьянством. Проторчавши законное количество времени на артистическом подъезде, мы поехали, влекомые Денисьевым, в ресторан Чистова у Иверских ворот и, зарядившись там на скорую руку солидным количеством водки почти без закуски (которая оказалась неважною), переправились к Тестову, где, поглотив под прелестные расстегаи с ухой еще больше, уже сильно на взводе, поехали на парном рысаке в «Эрмитаж». Там выпив за здоровье Кшесинской 2 бут<ылки> шампанского и столько же ликера (там в честь Гримальди и Кшесинской был ужин, устроенный московскими балетоманами), поехали в «Яр», где под звуки цыганского хора окончательно перепились. После этого, переменив еще, по заведенному в Москве порядку, 2 или 3 кабака, проснулись утром где-то за городом, не то в «Стрельне», не то в «Мавритании». Вернувшись в свою гостиницу и приняв по холодному душу (Денисьева мы под утро где-то потеряли), отправились в 2 часа завтракать в Hotel National к Кшесинской. Когда я и Савицкий явились, там уже сидело за столом общество человек 6–7. Были М. Кшесинская, Гримальди, Де Лазари, Александров, Рафалович, Готч и др. Меня посадили между Кшесинской и Гримальди, и темой разговора почти в течение всего завтрака были всевозможные предположения о том, что случилось со мной и Савицким,

могущее придать нам столь оригинальный цвет лиц (рожи наши действительно не внушали никакого доверия, были бледно-серые с глубокой синевой вокруг очей). Гримальди все время допытывала, где мы ухитрились так натрескаться, что потеряли подобие Божие, и, по-видимому, с большим знанием дела перечисляла мне на ломаном итальяно-русском языке все злачные местечки кутящей Москвы. Кшесинская же взяла нас под свое покровительство и не позволяла подсмеиваться компании. Готч и Александров проговорились и сами выдали себя, заявив, что видели нас в 7-м часу у «Яра». Это был замечательно веселый и симпатичный завтрак, на котором, впрочем, я и Савицкий при всем желании ничего, кроме содовой со льдом, не могли пить. Около 6-ти часов пили чай у Е. В. Гельцер и, разорив ее на две карточки, отправились на вокзал. В 9 часов 30 минут в севастопольском поезде, вместе с Седовой, поехали в Петербург. Почти до Твери болтали с ней о ее московских гастролях, потом я спал вплоть до Петербурга.

Матильда Кшесинская с Сержем Лифарем. 1910-е гг.

2 февраля мне пришлось еще раз сильно напиться на именинах у А. П. Павловой. Это был день нашего примирения после двухмесячной ссоры. (Она позволила себе однажды некоторую нетактичность, на которую я ужасно разозлился и в течение 2-х месяцев ни разу не был у нее и при встречах в театре не кланялся. Накануне она подошла к моей ложе и так мило извинилась за происшедшее недоразумение, что я потерял всякую обидчивость.)

В феврале я довольно неожиданно получил премию Военно-судебного ведомства по своей стипендии, о которой, кончивши корпус, даже перестал думать. Премия оказалась в размере 350 рублей, которые пришлись мне весьма кстати. (…)

21 мая (1906 года. — Б.С.) состоялся акт в Театральном училище, на котором я, конечно, присутствовал. Удивительно

трогателен традиционный молебен в Казанском соборе, на котором, как стадо овечек, стоят молодые танцовщицы в белых парадных платьях и белых шляпах, а потом традиционное же катанье в экипажах по Невскому и набережной Невы. После обеда я со всей семьей Клечковских отправился в Павловск на музыку, где состоялся интересный ужин. Были также М. Ф. Кшесинская, К. М. Куличевская и другие артистки, вездесущий и неизбежный Миша Александров и др. Распрощавшись перед отъездом трогательно с М.Ф., я, «сильно вибрируя», пришел домой. 22-го я закупал необходимые для дороги и для Кавказа вещи, а 23-го поехал. Ехать я решил вдруг, совершенно неожиданно, так что почти никто не знал, что я уезжаю. Я позавтракал у Е.А. Х., отправил багаж на вокзал, а сам поехал к К. пробыть там последние часы в Петербурге. Дома ее не оказалось, и я разыскал ее только в конторе Имп<ераторских> театров, где она наносила визиты директору и Вуичу. Проболтав около часу, мы, дав друг другу слово в верности и частой переписке, адски трогательно простились, и я поехал на вокзал. На посланную домой телеграмму успела приехать на вокзал только сестра, которая меня и проводила. Ехал я дальше Москвы первый раз в жизни и потому в ожидании интереса путешествия чувствовал себя хотя и немножко грустно, но в общем приятно. В дороге до Москвы я разговорился с маленьким кадетиком 2-го корпуса, который рассказал мне нынешнее состояние и порядки нашего «alma mater». Почти со всех больших станций вплоть до Кавказа я отправлял письма и открытки Л. К. и домой. В Москве зашел на $^1/_2$ часа к Рыбиным и по традиции в фотографию Фишера, сел в 12 часов на прямой скорый поезд и покатил дальше. Мой интерес к новым местам и впечатлениям довольно скоро прошел, ибо все станции за Москвой оказались грязными и скучными постройками, а дорожные ландшафты — удивительно однообразными и скучными. Вскоре я разговорился и затем в течение двух суток до самого Кавказа очень интересно беседовал с ехавшим в одном купе со мной профессором математики Электротехнического института Листопадовым. Этот господин оказался настоящим складом всесторонних знаний и громадного опыта, и притом очень разговорчивый. Между прочим, он мне сообщил массу интересных сведений о только что скончавшемся К. А. Скальковском, которого лично знал и даже имел общие дела. Я жалею, что не могу записать этих рассказов, которые составили бы целую брошюрку удивительных деяний этого инженера-горнопромышленника-публициста-путешественника-балетомана-моралиста-развратника-химика-музыканта-русского-парижанина и т. д., словом, этого поистине редкого и

интересного человека, везде бывшего, все знавшего и чем угодно занимающегося. Скальковский, будучи директором Горного Департамента, строил железные дороги, писал рецензии и книги о балете, проповедовал морали честности, отчаянно брал взятки, сочинил музыку к 2-актной оперетке, распространялся в течение 20-ти лет в «Новом времени» на самые высокополитические темы и бегал за парижскими кокотками… Осенью, прочтя в газете об аукционе вещей покойного Скальковского, я весьма заинтересовался и пошел. Аукцион продолжался 3 дня, распродавалась целая масса художественных произведений, это был аукцион музея. Его обстановка так прекрасно гармонировала с ним самим и столь ясно обрисовывала личность ее владельца, что даже не знавший его человек мог составить себе довольно ясное представление о жизни и деятельности ее хозяина. Здесь рядом с дорогой и редкой коллекцией горных пород продавался тамбурин В. Цукки, и рядом с огромной научной библиотекой стояла серия самых легкомысленных сюжетиков Каррье-Белёза. В одном альбоме рядом с портретами министров и профессоров находились карточки цирковых наездниц с отчаянными надписями… (…)

Эта зима 1906 года вообще и Рождество особенно были каким-то сплошным угаром балов, вечеров, спектаклей и ежедневных кутежей. Положительно в Петербурге не осталось ни единого хорошего ресторана, в котором наша компания не побывала бы. Особенно памятна целая серия великосветских маскарадов в Мариинском театре, на которых я, Стрекач, Бараков, Яриллов, Денисьев, Трофимов, Выходцев и прочие считали своей обязанностью постоянно бывать. Один из этих вечеров под названием «Как в Париже» был что-то сверхъестественно невероятное. Во время балетного дивертисмента я и Стрекач вылезли на сцену вместе с Трефиловой. Потом участвовали в живых картинах, изображая «Бурлаков на Волге», пили водку в уборной с Жоржем Педдером и Кусовым, выпили все в общей сложности 16 бут<ылок> шампанского и попали в конце концов к Кюба в половине шестого утра. Трофимов разъезжал по всем хорошим кабакам, творя грандиозные «экривэ». Все-таки изо всех ресторанов мы чаще всего бывали в «Вене», причем стали замечать, что в одном из зал находится магический круглый стол, за который стоит только сесть, непременно напьешься и выкинешь какой-нибудь небывалый номер. Убедившись в действительной силе этого стола, мы стали его избегать и назвали «опасный стол». Это напомнило мне одного нашего офицера, который рассказывал, что купил однажды сапоги, обладавшие подобной же магической силой. Стоило только их

надеть, чтобы потерять всякую надежду попасть домой раньше утра!.. В других сапогах он хотя и бывал в ресторанах, но не напивался и всегда вовремя был дома. Разозлившись на эти сапоги, названный офицер подарил их своему денщику… и о ужас!.. Не бравший в рот вина денщик начал пить запоем, адски буянил и каждую ночь являлся домой пьяным.

Придя однажды часов в 5 дня в «Вену» обедать, я и Стрекач не нашли ни одного свободного столика. В это время метрдотель доложил, что сию минуту одна компания уходит и освободится стол. Действительно вскоре освободился стол, но… как раз «опасный». Мы долго не решались, что предпринять, но наконец, решив, что нельзя обращать внимания на ерунду, сели. Решив скромно пообедать, мы, тем не менее, незаметно подвыпили и, не знаю почему, так раскутились, что попали еще к Пертцу, а оттуда не более не менее как… в Москву, т. е., попросту говоря, сели на 8-часовой скорый поезд и отбыли в Москву на бенефис Е. В. Гельцер. Приехав, мы традиционно позавтракали у Тестова, отправились слоняться по Москве, нанесли в Национальной гостинице визит М. Ф. Кшесинской, вечером достали ложу 2-го яруса на бенефис и уехали на другой день в Петербург лишь благодаря нашему бывшему офицеру князю Церетелли, встретив его совершенно случайно на Арбате в шикарных собственных санях. Он потащил нас к себе, познакомил с женой, угостил роскошным обедом и проводил в своей карете до вокзала. На вокзале, выпив кофе с ликером, мы ухитрились в переполненном курьерском поезде раздобыть пару мест <в> международном спальном вагоне 1-го класса вместе с Б. Политковским. До самого Клина и даже дальше вся многочисленная компания петербургских балетоманов соединилась в вагоне, занятом М. Кшесинской, Седовой, Безобразовым и супругами Лихачевыми, и устроили походный ужин. М.Ф. сама резала и приготовляла бутерброды, поросенка с хреном и прочее. Пили прямо из горлышка пиво и вино, а я и Седова чистили ножи и мыли посуду. Как экспромт это был превеселый ужин со многими кипроко. Ночью мы наподобие Холмсов и Пинкертонов рыскали из купе в купе, разыскивая спрятанную В. В. Абазой бутылку 150-рублевого коньяку, подаренную ему московским мимопером — рестораторе Карзинкиным. Не найдя полуторастарублевого коньяку, мы удовольствовались в Твери десятирублевым, который торжественно и распили.

Вот чем кончается иногда скромное желание пообедать за «опасным» столом в «Вене». (…)

Матильда Кшесинская с Натальей Макаровой. Париж. 1970 г.

Часть третья
Театр и жизнь на изломе эпох

Однако балерины далеко не каждый раз ездили с нами ужинать в рестораны, а страшно усталые после спектакля ехали домой и валились в кровать. Мы же стали ездить после каждого спектакля к излюбленному Лейнеру, где у нас был свой стол, который по воскресеньям и средам никому не отдавался. В эти дни к 11 часам на белоснежной скатерти стояли уже 2 больших графина водки в ведерках со льдом, масло, икра, провесной балык, 5 десятков устриц и неизбежный «монастырский» салат. Компания наша обычно состояла из меня, Савицкого, студента В., дальневосточного прапорщика, крупного коммерсанта А.С.С., вице-директора страхового о<бщест>ва «Жизнь» Ф.Ф.Л. и кого-нибудь из наших абонентов. Часто бывал и товарищ управляющего Гос<ударственным> коннозаводством, граф Ростовцев, а из артистов были неизменно: старик Бекефи, оба брата Легаты, И. Ф. Кшесинский, Георгий Кякшт и кто-нибудь из «начинающей молодежи» — часто М. М. Фокин. (…)

Я застал еще в Павловске конец сезона и наслаждался пьяными Галкиным и Вержбиловичем, скрипачом Смиттом, двумя концертами парижского Эдуарда Колонна. Приехал еще из Брюсселя замечательный виолончелист Э. Жакобе, который извлекал из своего инструмента подлинные звуки глубокого патетизма и отчаянья. <Великая> княгиня Елизавета Маврикиевна, сама очень музыкальная, пригласила как-то Жакобса в свою ложу и задала ему вопрос: откуда столько неизжитого горя в его прекрасной игре, — и он поведал ей трагедию своей жизни. Будучи уже профессором Брюссельской консерватории и в средних летах, он женился на сироте, красавице 18-ти лет, которую безумно любил. Но жизнь его не склеилась. Над письменным столом в его кабинете висел дивный поясной портрет его жены в натуральную величину, и вот, возвратясь с одного из концертов, он вместо портрета нашел висевшей в петле свою обожаемую жену. Да, такая трагедия могла дать элегические стоны в его игре…

Галкин не дирижировал иначе, как после бутылки крепкой мадеры, а почтенный А. В. Вержбилович «пускал слезу» лишь после обильного возлияния коньяку. Балакирев и Мусоргский были горькими пьяницами, да и А. К. Глазунов любил изрядно выпить, особенно сухое шампанское со свежими огурцами. Уже в первые годы революции, когда ни водкой, ни вином нигде и не

пахло, А. К. Глазунову, ввиду его особых заслуг, советская власть через Кубуч отпускала 4 литра чистого спирта в месяц. А.К. в театре добродушно говорил, что это все равно что слону дать один подсолнушек! Это напомнило мне один курьезный эпизод еще в 1904 году. В оркестре Мариинского театра был один хотя и рядовой оркестрант, но чудный виолончелист Логановский. Трезвый, он положительно ничем не выделялся от своих семи товарищей, но, пьяный, давал такой тон в своих solo, что у публики навертывались слезы. И вот в прощальный бенефис Кшесинской, где шла 2-я картина «Лебединого озера» со знаменитым дуэтом Ауэра и Логановского, Кшесинской сообщили, что Логановский трезв как стеклышко монокля. Кшесинская вызвала к себе в уборную Р. Дриго и умоляла его, ради ее бенефиса, дать Логановскому нужную дозу коньяку. Дриго, сам трезвенник, преследовавший пьянство в оркестре и нещадно штрафовавший музыкантов, был в крайнем затруднении, но мольба самой Кшесинской была слишком реальна, и Дриго послал оркестрового курьера в буфет за бутылкой мартеля и плиткой шоколада. Когда Логановского привели в маленькую дирижерскую, то он попятился от Дриго как от черта. И бедному маэстро, такому врагу пьянства, пришлось уламывать Логановского, как ребенка, выпить за здоровье бенефициантки. Логановский взъерошил свою громадную шевелюру, посмотрел на Дриго и мрачно выпил один за другим 3 чайных стакана, закусывая их крошечными кусочками шоколада… и играл в этот вечер как бог. Случай этот рассказал мне впоследствии сам Дриго, с которым я, несмотря на большую разницу в летах, дружески сошелся и был в течение 7-ми лет, по его отъезде в Италию, его полномочным представителем в России.

Сезон 1906/07 годов был особенно удачным в балете и также удачным в клубах. В эту зиму заблистала звезда молодого М. М. Фокина. Его изумительные постановки «Ацис и Галатея» (в школе), «Евника» и «Павильон Армиды» открыли новую эру в балете, а «Шопениана» и «Египетские ночи» показали уже могучего художника, нашедшего новое русло для обмелевшей реки хореографии. Это была лучшая пора первого, робкого еще экспрессионизма, никого не шокировавшего, лишь позже вылившегося в «Мир искусства», породивший уже безобразные формы «0,01» и «Ослиный хвост» — предвестники кубизма, футуризма и других тяжких психических болезней искусства. Фокин и в позднюю эпоху своего творчества не пошел дальше Анисфельда, на котором чутко, но решительно остановился.

Такие гибкие артисты как А. Павлова, Т. Карсавина, П. А. Гердт и В. Ф. Нижинский давали в руки Фокина мягкую,

эластичную глину, из которой он лепил свои яркие образы Петрония, Евники, Актеи, Армиды, Вереники, Арсинои, раба Армиды, маркиза де С., Амуна, Клеопатры и Марка Антония. Трескучий провал легатовских «Кота в сапогах» и «Аленького цветочка» довольно недвусмысленно показал тупик «классики без стиля», и, сохранив, конечно, лучшие шедевры Петипа и Льва Иванова, Фокин — первый и единственный автор, который нашел новый и верный выход на девственное, не вспаханное еще поле.

Публика лишь в ничтожном меньшинстве брюзжала, но старцы вымирали, а действительно культурная часть публики и молодежь горячо приняли Фокина, и один лишь ныне покойный Флексер-Волынский изрыгал свою ядовитую слюну в дурацком наборе бессмысленных слов своих фельетонов.

Дело же это произошло вот как. М. Ф. Кшесинская, хотя официально и покинула сцену в 1904 году, но de facto выступала в качестве разовой гастролерши по 10–12 раз в сезон. Хотя Фокин, высоко ценивший ее талант, и предоставил ей роль Евники на премьере, но Кшесинская этим выступлением ограничилась, ибо очень хорошо понимала, что в новом репертуаре ей делать нечего. И вот для разумной защиты принципов старой классики потребовался человек, хотя бы и не с театральным, но с литературным именем, и в большом редакторском кабинете Проппера, где в уголке, за маленьким столиком под низко опущенной лампой сидел упоминаемый мною маленький Дрейден, который уже был городским хроникером, — он слышал такой диалог: «Итак, Вы будете писать о преимуществах старых классических балетов и изыскивать ахиллесову пяту у Фокина, но это осторожно, ибо у него много друзей». — «Да, но я же никогда не бывал в балете и не имею о нем понятия…» — «Да, но Вы и Савонаролу лично не знали, а вон какую книгу завернули. Вот Вам кресло 4-го ряда, идите, привыкайте и пишите, а о материальной стороне помимо построчных договоритесь непосредственно с М.Ф.». Этот литературный подлец начал ковырять свои цереброспинальные статьи и душить Фокина, что, впрочем, ему плохо удавалось. Два года спустя П. Н. Владимиров, ставший своим человеком в доме М. Кшесинской, сам лично мне рассказывал, как он, поднявшись в будуар М.Ф., видел Волынского, отступавшего задом через зеркальный тамбур, а М.Ф. кричала: «Мне надоело за Вашу белиберду платить по 300 рублей в месяц. Вы не поняли своей простой задачи и лезете в разбор дела, в котором свиного пупа не понимаете. Если Вы будете продолжать Ваш дурацкий, вызывающий хохот набор слов — то уже за счет Проппера».

Вот кто такой был Волынский, продажная сволочь русской

балетной критики. Он исчез на 4 года в Одессу и, вернувшись уже после революции, расцвел махровым цветом на столбцах «Жизни искусства», где и вообще все писали непонятным «блатным» языком. Полемика моя с этим прохвостом вся напечатана в «Театре и спорте» за 1920/21 год. (…)

Матильда Кшесинская с сыном Владимиром. 1900-е гг.

«Ники отлично сознавал, что мне придется пережить тяжелые времена и пройти через множество испытаний, и что без его поддержки я могу стать жертвой всевозможных интриг. А он

не хотел, чтобы из-за него я пострадала. Всю свою жизнь я чувствовала его покровительство, и не раз он поддержал и защитил меня, когда меня стремились унизить или оскорбить».

(Матильда Кшесинская)

Из хроники моей семьи (Из воспоминаний великого князя Гавриила Константиновича) [14]

Каждое воскресенье в ту зиму (1912 года. — Б.С.) я бывал в Мариинском театре, в балете. Мне очень нравилась артистка А. Р. Нестеровская (в дальнейшем я буду называть А. Р. Нестеровскую просто А. Р.). В антрактах я приходил на сцену с ней разговаривать и скоро стал бывать на ее маленькой квартире, в которой она жила со своей матерью, очень почтенной женщиной, из дворянской семьи, родом с Кавказа. Таким образом между нами завязались дружеские отношения. (…)

Перед самой Пасхой приехала в Канны наша известная балерина М. Ф. Кшесинская. В одном с ней поезде приехала и А.Р. Они обе остановились в нашей гостинице. Сразу после праздников мы все переехали в Монте-Карло. В то время в Монте-Карло гастролировал русский балет Дягилева и имел большой успех. Балетной новинкой был «Петрушка» Стравинского в постановке известного балетмейстера Фокина. К Стравинскому надо привыкнуть. Лишь после того, как я несколько раз видел «Петрушку», Стравинский начал мне нравиться, и я полюбил некоторые из его мелодий, например мелодию шарманки. Шли также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и «Египетские ночи», всё — постановки Фокина. Фокин их поставил поразительно. Сочетание танцев и музыки было замечательное. Сам Фокин жил в то время в Монте-Карло со своей женой, тоже балетной артисткой, и со своим маленьким сыном Виталием, за которым ходила русская няня.

Клеопатру в балете «Египетские ночи» играла артистка Астафьева, бывшая замужем за К. П. Гревсом, братом моего сослуживца по полку.

Я каждый день ходил в театр. Мы с А.Р. играли в казино в рулетку, но, конечно, по маленькой, так что наши карманы не страдали. Однажды А.Р. выиграла в рулетку. Дома, вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, они считали выигранные деньги, клали золотые монеты кучками и решали, что на них купить. Сергей Михайлович был очень хороший и добрый человек, и в то же время — умный и образованный. Он любил подсмеиваться над людьми и изводить их. Иной раз он бывал очень неприятным. Но повторяю, это был добрейшей души человек.

Кшесинская должна была выступать у Дягилева с известным артистом Нижинским. Они танцевали в небольшом балете, Spectre de la Rose, под музыку Вебера, LInvitation a la valse, также в постановке Фокина. Гвоздем этого балета был громадный прыжок Нижинского в окно. Балет этот мне очень нравился, я видел его много раз. (…)

Зимой 1913 года праздновалось трехсотлетие царствования Дома Романовых. По этому случаю было много торжеств. В первый день торжеств, перед выходом, когда все семейство собралось в комнатах государя и государыни, Борис Владимирович спросил государя, можем ли мы носить только что утвержденный знак в память юбилея. Государь сказал, что можем. Знак этот был в виде герба Романовых, окруженный венком. Я стоял рядом с Борисом и слышал, как государь сказал, что получил множество телеграмм из всевозможных углов России, от совершенно незнакомых ему людей. Мне кажется, что государь сам отвечал на все эти телеграммы.

Очень было интересно смотреть на принесение поздравлений их величествам свитой, придворными и разными депутациями. Поздравление происходило в зале рядом с Малахитовой гостиной. Семейство стояло за государем и государынями. Мы делились друг с другом впечатлениями. Поздравляющих было очень много; каждый из них подходил сначала к императрице Александре Федоровне, делая поклон, целовал ей руку и снова делал поклон. Затем он таким же образом подходил к императрице Марии Федоровне и затем уже к государю. Александра Федоровна сидела, но Мария Федоровна все время стояла.

В один из дней юбилейных торжеств была торжественная обедня в Казанском соборе в присутствии их величеств. Обедня была архиерейская и потому продолжалась очень долго.

Великая княгиня Мария Павловна приехала в Казанский собор вместе с великой княгиней Марией Александровной, герцогиней Кобург-Готской, прибывшей из Германии на юбилей. Она была единственной дочерью Императора Александра II. Они приехали в парадной карете цугом с форейторами. Выезд был русский. Форейторы были одеты как кучер, который сидел на больших малиновых с золотом козлах. Мария Павловна придерживалась старых традиций и в такой торжественный день как юбилей Дома Романовых пожелала выехать цугом. Мне это очень понравилось.

По случаю юбилея Дома Романовых был парадный спектакль в Мариинском театре. Публика была допущена только по приглашениям, театр был полон. Флигель-адъютантам, как,

например, Багратиону, пришлось сидеть где-то на самом верху. Их величества и семейство подъезжали к боковому подъезду и собирались в аванложе. Дяденька приехал с Татианой: он вывозил ее на придворные торжества, потому что муж ее, не будучи «высочайшей особой», не мог сидеть в царской ложе и участвовать в высочайших выходах вместе с ней. Камер-пажи со своим ротным командиром стояли подле аванложи, в ожидании выхода государя, государынь и великих княгинь, чтобы следовать за ними. Государь, государыни и старшие члены семейства сидели на этот раз в большой центральной ложе. Остальные заняли обе боковые царские ложи. Шла опера Глинки «Жизнь за Царя». В первой паре мазурки, во втором действии, танцевала Кшесинская. По случаю юбилея было разрешено в последнем действии изобразить царя Михаила Федоровича, — вообще же царей и цариц запрещено было изображать на сцене. Михаила Федоровича изображал известный на всю Россию тенор Леонид Собинов. Роль его была безмолвная. Он только прошел по сцене в крестном ходе.

По случаю Романовского юбилея петербургское дворянство дало большой бал в Дворянском собрании. На балу были их величества со старшими великими княжнами, вся императорская фамилия и масса приглашенных. Бал начался с полонеза. Государь шел с женой петербургского губернского предводителя дворянства Сомовой, а государыня — с Сомовым. За ними шли великие князья с женами петербургских дворян и великие княгини с петербургскими дворянами.

Когда государь и государыня вошли в залу, заиграл кантату большой струнный оркестр графа А. Шереметева, под его личным управлением. Странно было видеть свитского генерала на месте дирижера, с дирижерской палочкой в руке.

Бал открыла великая княжна Ольга Николаевна со светлейшим князем Салтыковым; говорят, что он, танцуя, забыл снять шашку. Я тоже танцевал и, между прочим, с одной из великих княжон. Бал был очень красивый и оживленный, но менее красивый, чем дворянский бал в Москве, той же весной. Государь и государыня с великими княжнами уехали до ужина. (…)

Я не пропускал почти ни одного спектакля в Красносельском театре. Ставились веселые пьесы, оперетки и красивые балеты, в которых неизменно принимала участие балерина Кшесинская, восхищавшая всех своими танцами. (…)

Великий князь Андрей Владимирович женился 17 (30) января 1921 г. в Каннах на известной балерине императорского русского балета Матильде Феликсовне Кшесинской. Великий князь Кирилл

Владимирович, как глава императорского дома, пожаловал ей титул светлейшей княгини Романовской-Красинской. 27 ноября 1925 г. княгиня Красинская перешла в православие и наречена Марией.

Сын великого князя Андрея Владимировича и княгини Красинской Владимир Андреевич получил от великого князя Кирилла Владимировича титул светлейшего князя Романовского-Красинского, а теперь именуется светлейшим князем Романовым.

Великий князь Андрей Владимирович с семьей жили в Кап д'Ай до 1929 г., откуда переехали в Париж, где проживают и сейчас.

Царица парижских кабаре (Из воспоминаний Л. И. Лопато) [15]

Глава семнадцатая

Ужин у Кшесинской. Владимир Кшесинский-Романов и его черепаха. Графиня Лилиан и Серж Лифарь

Моя приятельница австрийская графиня Лилиан д'Альфельд была близкой подругой миллиардера Моргана, который оплатил ей апартаменты на шесть месяцев в знаменитом отеле «Георг V», — она там жила широко и многих принимала.

Лилиан знала немало аристократов из Египта, Непала и Индии — в отеле на рояле у нее стояли их портреты. Кое-кого из них она привела на мой благотворительный вечер. Графиня раздаривала подругам шелковые сари, а сама владела множеством индийских драгоценностей.

Эксцентричная Лилиан как-то сказала мне: «Ты всех моих египтян покоряешь, познакомь и меня с русским князем». Я позвонила Владимиру Кшесинскому-Романову, и на следующий день мы пошли ужинать в «Динарзад». Роман между Лилиан и Владимиром начался моментально. Днем позже взволнованная Лилиан сказала мне по телефону: «Людмила, наряжайся в пух и прах! Мой лимузин повезет нас к Кшесинской ужинать».

С Матильдой Кшесинской я встречалась многократно. Великий князь Андрей Владимирович, ее муж, был милейший человек. У них был небогатый, но очаровательный дом с террасой в саду возле улицы Пасси (вилла «Молитор», дом 10) в Шестнадцатом аррондисмане Парижа. Несмотря на свой возраст прима-балерина продолжала учить молодых искусству танца в своей студии, основанной еще в 1929 году.

Вместе с ней жила ее сестра, балерина Кшесинская-вторая, которая была стара, больна и плохо ходила, поэтому редко спускалась вниз из своей спальни.

Вова жил вместе с родителями, в этом же доме. Он был красивый, милый молодой человек и нашел себя в эмиграции следующим образом: сделался коммивояжером, ездил на велосипеде, продавал вина своим приятелям и знакомым. Мне тоже. Мы были друзьями.

Вова держал в доме ручную черепаху, ухаживал за ней, кормил капустными листьями, которые она очень любила. И тратил на нее на удивление много душевного пыла.

Но вот у черепахи появилась серьезная соперница.

Мы приехали. Разодетая Лилиан сделала глубокий реверанс и склонила голову перед княгиней-примой и князем. Андрей Владимирович улыбнулся и, чмокнув меня в щеку, спросил: «Как

жизнь?». Ужин был превкусный, княгиня оставалась умной и приятной собеседницей, Лилиан не спускала глаз с Вовы. А через неделю сняла у них комнату, очень уютно ее устроила и — переехала.

Прошло некоторое время. Лилиан как-то разочаровалась в Вовиной элегантности и заскучала. Вскоре, на Пасху, вечером к ним пришел Серж Лифарь. И тут моя австрийская графиня действительно влюбилась.

А Лифарь любил все, что было красиво.

И, главное, всех, кто его любил.

Лифарь был тогда уже несколько лет не в фаворе у Парижской оперы. После немецкой оккупации Парижа ему постоянно ставили в вину встречу с Гитлером, которому он якобы показывал здание «Гранд-опера». Он сумел найти работу только в Финском национальном балете в Хельсинки, потом танцевал в Сан-Морице, в Швейцарии, а позднее в Лиссабоне поставил «Жар-птицу» в оформлении Дмитрия Бушена.

Лилиан взяла его «на поруки». Когда Лифарь уехал за границу, энергичная графиня перевезла на новую квартиру все его вещи (даже засохшую рождественскую елку, украшенную игрушками). Их роман продолжался в течение долгих лет, до смерти Лифаря в 1986 году в Лозанне.

Сергей всегда говорил: «Я и моя контесса». Они были очень дружны. Лилиан много ему помогала. Именно она сохранила его бесценные бумаги и привела их в порядок. Таким образом к ней попали письма Натальи Гончаровой из собрания «Пушкинианы» Дягилева. И многие бумаги самого Дягилева, которые он оставил Лифарю и Борису Кохно, своему секретарю и либреттисту.

Кшесинская была очень расстроена этим романом, потому что знала, как сильно Вова любил Лилиан.

Так расстроена, что однажды плеснула в Лилиан кипятком.

«Балетомания» (А. Хаскелл) [16]

Класс Кшесинской — один из самых замечательных среди тех, что мне приходилось видеть. Он очень индивидуальный и вдохновенный. Кшесинская отдается работе с огромным энтузиазмом, танцуя с учениками иной раз по восемь часов в день.

А. Хаскелл: Ваш класс не похож ни на один другой. Вы ввели собственный метод преподавания?

М. Кшесинская: Я стараюсь делать каждый урок новым и увлекательным. Я хочу учить самому танцу как целому, а не только тем движениям, из которых он состоит. Поэтому я стараюсь включать традиционный экзерсис в комбинации и па, которые развивают воображение. Таким образом, когда настанет время, танцовщики смогут легко и быстро понять хореографа. Вы могли заметить, что я никогда не считаю вслух: это точно так же портит урок, как испортило бы представление. Прежде чем начать танцевать, ученики должны мысленно держать ритм, а пока этого нет, танцевать просто бессмысленно.

А. Хаскелл: Не получится ли, что все ваши ученицы превратятся просто в маленьких Кшесинских?

М. Кшесинская: Я стараюсь воспитывать в них индивидуальность. Все должны изучить основную технику, но когда они уже достаточно подготовлены, я даю им те упражнения, которые каждой из них больше подходят. Я полагаю, что урок Чекетти не годится для продолжительных занятий. Я думаю, что он иссушает воображение слишком однообразным классом, в то время как совершенно необходимо развивать художественную гибкость. Чекетти научил меня фуэте, и я всегда буду благодарна ему за то, что он сделал для меня. Но самым великим своим учителем я считаю Иогансона — он создатель русской балерины. Он был одним из очень немногих, кто мог научить, как нужно танцевать. За исключением этих нескольких оговорок, я согласна с вами, что балет сегодня замечателен, и что так или иначе танцовщики все же смогут развиваться. Ко мне мастерство пришло к тридцати годам. Как легко мне было тогда танцевать, я делала это почти без усилий! До того и после мне иногда приходилось делать усилия, чтобы быть в нужном настроении…

А. Хаскелл: Артистизму можно научить?

М. Кшесинская: До определенной степени можно. Внутренняя артистичность нашей великой танцовщицы Павловой — это

другое дело, но я знаю многих танцовщиков, которые развивали в себе это свойство постепенно. Время — самая важная вещь при ответе на подобные вопросы. Мы долго учились, прежде чем взяться за трудные роли, и хотя сегодняшняя техника позволяет укладываться в более короткий срок обучения, но души еще не готовы для серьезных ролей. Нужно внимательно смотреть за великими артистами, чтобы со временем стать такими же выдающимися как они. В те годы у нас было достаточно времени, чтобы наблюдать за ними. Я помню, как, когда мне было двадцать лет, я попросила Петипа дать мне станцевать Эсмеральду. «Не теперь, — ответил он, — вы еще недостаточно страдали». И он был прав. Старые балеты, возможно, были во многом смешными, но исполнять их эмоционально была непростая задача. Я так сильно чувствовала Эсмеральду, что когда, наконец, стала ее танцевать, то часто вынуждена была сдерживать слезы перед выходом на сцену. И здесь опять время играет очень большую роль. Эти старые балеты были длинными и шли очень долго. Поэтому у нас была возможность совершенствовать роль или же учиться, смотря за тем, как ее совершенствуют другие.

Я поражаюсь современным молодым артистам, но часто спрашиваю себя, хватит ли их так надолго для выступлений, как хватило нас? Будут ли они такими же свежими в зрелые годы, какой осталась Анна Павлова? Это снова вопрос времени. Они танцуют каждый вечер, мы выходили на сцену с перерывами. Невозможно каждый вечер быть в нужном расположении духа, а насильно вызывать в себе желание танцевать очень вредно для молодых. Впрочем, время покажет.

А. Хаскелл: Чем отличаются артисты вашего поколения от современных молодых артистов? Лучше вас никто не сможет ответить на этот вопрос.

М. Кшесинская: Многое кажется мне забавным, когда я думаю о знаменитых артистах прошлого, особенно об артистах моих школьных лет. Большинство из тех, кого восторженно принимала тогдашняя публика, сегодня всем своим стилем вызвали бы смех. Гердт, например, был великим артистом, но его невозможно представить на сегодняшней сцене. Другие, быть может, имели бы такой же выдающийся успех, как и прежде. Вирджиния Цукки была замечательной артисткой, величайшей среди всех тех, кого мне приходилось видеть. Бывают артисты, которые вызывают восхищение, но ничего не оставляют в душе, но после стольких лет я все еще вижу Цукки. Современные танцовщики технически гораздо более развиты, они сильнее даже знаменитой своей техникой Леньяни. Но с развитием артистической индивидуальности все обстоит у них не так просто…

Источники

Богданович (урожд. Бутовская) Александра Викторовна (ок.1835–1912) — дочь егермейстера, супруга Евгения Васильевича Богдановича (1829–1914), генерала от инфантерии, служившего по МВД. Была хозяйкой светского салона и вела дневник.

Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) — князь, камергер, статский советник, режиссёр, театральный критик, директор императорских театров в 1899–1901 годах, директор Курсов ритмической гимнастики в Петербурге в 1912–1914 годах, в 1921 году эмигрировал в Италию, затем в Австрию, а в 1926 году во Францию, где подружился с Кшесинской, конфликт с которой стал причиной его отставки с поста директора Императорских театров. В студии Кшесинской неоднократно давал уроки и выступал с лекциями о движении и мимике. Умер во время поездки в США.

Гавриил Константинович (1887–1955) — князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича (1858–1915), участник Первой мировой войны, полковник, награжден Георгиевским оружием. В 1918 году арестован, но вскоре освобожден и выехал в Финляндию. С 1920 года жил в Париже. В 1939 году великий князь Владимир Кириллович, возглавивший Российский императорский дом после смерти великого князя Кирилла Владимировича, пожаловал ему титул великого князя.

Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978) — дочь танцовщика императорской балетной труппы, русская балерина, солистка Мариинского театра, входила в состав Русского балета Сергея Дягилева и часто танцевала в паре с Вацлавом Нижинским. Сестра историка и философа Льва Платоновича Карсавина (1882–1952). В 1917 году вышла замуж за британского дипломата Генри Брюса и в 1918 году уехала с ним в Лондон. В 1930–1955 годах была вице-президентом Королевской академии танца.

Ламсдорф Владимир Николаевич (1844/1845–1907) — граф, действительный тайный советник, гофмейстер, министр иностранных дел Российской империи в 1900–1906 годах. Отличался нетрадиционной сексуальной ориентацией. Автор

дневника.

Легат Николай Густавович (1869–1937) — швед, сын балетных танцовщиков Петербургской императорской сцены, заслуженный артист императорских театров, танцовщик, балетмейстер и балетный педагог, в труппе Мариинского театра в 1888–1914 годах, главный балетмейстер в 1910–1914 годах, в 1922 году эмигрировал в Англию, где открыл свою балетную школу.

Лешков (Ляшков) Денис Иванович (1883–1933) — сын окружного следователя, поручик, служил в Кронштадтской крепостной артиллерии, после выхода в отставку в 1908 году — балетный критик, в 1914–1917 годах — участник Первой мировой войны, главный архивариус и заведующий архивом Управления государственными академическими театрами в 1919–1927 годах.

Лопато Людмила Ильинична (1914–2004) — певица кабаре русской эмиграции, родилась в Харбине, в семье караима, табачного фабриканта Ильи Ароновича Лопато, в 1929 году переехала во Францию, в годы Второй мировой войны жила с США, затем вернулась во Францию. Близкая подруга Кшесинской. В последние годы жизни ее воспоминания были записаны историком моды Александром Александровичем Васильевым (р. 1958).

Николай II (1868–1918) — сын императора Александра III, император Всероссийский в 1868–1917 годах, отрекся от престола. Расстрелян в Екатеринбурге вместе с семьей. Решение Архиерейского Собора Русской православной церкви от 14 августа 2000 года вместе с семьей прославлен как страстотерпец в сонме новомучеников и исповедников Российских.

Петипа Вера Мариусовна (1885–1961) — дочь Мариуса Петипа, балерина Мариинского театра в 1903–1907 годах. В 1921–1924 годах обучалась в Мастерской бывшей артистки Художественного театра Веры Всеволодовны Барановской

Петипа Мариус (Виктор Мариус Альфонс) (Мариус Иванович) (1818–1910) — действительный статский советник, французский и российский танцовщик, балетмейстер и балетный педагог. В 1847 году по приглашению российских властей приехал в Петербург. В 1869–1886 годах был главным балетмейстером Большого театра в Петербурге, а 1886–1903 годах — Мариинского

театра. В 1894 году получил российское подданство.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — русский журналист, писатель, театральный критик и драматург, издатель газеты «Новое время» в 1876–1912 годах.

Теляковский Владимир Аркадьевич (1860–1924) — полковник лейб-гвардии Конного полка, тайный советник, управляющий Московской конторой Дирекции императорских театров в 1898–1901 годах, директор Императорских театров в 1901–1917 годах. После Февральской революции арестован, но вскоре освобожден. В конце 1923 года, менее чем за год до смерти, получил пожизненную персональную пенсию. Являясь масоном еще с дореволюционных времен, в 1922 году был избран Великим мастером ложи «Астрея». Значительная часть его мемуаров и дневников остается неизданными.

Хаскелл Арнольд Лайонел (1903–1980) — британский балетный критик.

notes

Примечания

1

Добровольский А. Интимный дневник Матильды Кшесинской //Московский Комсомолец, 2017. 20, 21, 22, 23, 24 марта

2

Александра Богданович — хозяйка модного салона эпохи заката Российской Империи, жена генерала Е. В. Богдановича. Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник 1896–1912 гг. М.: Новости, 1990

3

Из дневника наследника престола Николая Александровича за 1890 и 1892 годы.

Дневник А. С. Суворина. М.-Пг.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1923.

5

Ламсдорф В. Н. Дневник 1894–1896 годов. / Пер. рукописи с фр., нем. и англ., введение, составление и комментарии И. А. Дьяконовой. Под. Ред. В. И. Бовыкина. М.: Межд. отношения, 1991

6

Князь С. М. Волконский. Мои воспоминания. Т. 1–2. Берлин, 1923–1924. Часть третья. Родина

7

Карсавина Т. П. Театральная улица. Перевод с английского И. Э. Балод. М.: Центрполиграф, 2004

8

В. А. Теляковский. Воспоминания. М.; Л.: Искусство, 1965

9

В. А. Теляковский. Дневники директора императорских театров. 1901–1903, Санкт-Петербург: Артист, 2002

10

Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи. Л: Искусство, 1971. Мемуары М. Петипа

11

Легат Н. Г. Памяти великого мастера // Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи

12

Петипа В. М. Наша семья // Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи

13

Лешков Д. И. Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала. М.: Молодая гвардия, 2004

14

Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. СПб.: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993

15

Васильев А. А., Лопато Л. И. Царица парижских кабаре. М.: Альпина нон-фикшн, 2011

Haskell, Arnold L. Balletomania: the story of an obsession. London: V. Gollancz, 1934